

ОН ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ.
ТЕПЕРЬ ОН ДОЛЖЕН ЕГО ЗАЩИТИТЬ.



СКОРО БУДУ

ДОМА

Том V. Принятие

Тёмное фэнтези • попаданцы • LitRPG

ADAM WALKER

Adam Walker

Скоро буду дома. Том V. Принятие

«Автор»

2026

Walker A.

Скоро буду дома. Том V. Принятие / А. Walker — «Автор», 2026

Он вернулся. Но его «скоро» длилось для семьи семь лет. Лео вырос и почти не помнит отца. Мира научилась жить дальше. А сам Адам уже не тот человек, который однажды вышел из дома и пообещал скоро вернуться. Родной порог должен был стать концом пути. Вместо этого он становится началом самого трудного испытания: заново заслужить доверие близких, найти своё место в изменившемся мире и понять, возможно ли действительно вернуться домой, если дорога навсегда изменила тебя. Но прошлое не осталось по ту сторону. Связь между мирами ещё не разорвана, и теперь от решений Адама зависит гораздо больше, чем его собственное будущее. Пятый, заключительный том серии «Скоро буду дома» — история о возвращении, выборе и принятии того, что дом нельзя вернуть прежним. Его можно только обрести заново.

© Walker A., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Кто там	6
Глава 2. Кухня	10
Глава 3. Женщина во дворе	15
Глава 4. Под одной крышей	19
Глава 5. Доказательства	24
Глава 6. День, когда я его потеряла	33
Глава 7. Мёртвый по бумагам	37
Глава 8. Первые слова	42
Глава 9. Одиннадцать	46
Глава 10. Испытательное соглашение	51
Глава 11. Мальчик	56
Глава 12. Нить дёрнулась	62
Глава 13. Море	65
Глава 14. Мама	69
Глава 15. Аномалия	74
Глава 16. Зерно	78
Глава 17. Одиннадцать лет	83
Глава 18. Как это выглядит для них	88
Глава 19. Семь	92
Глава 20. Армия	97
Глава 21. Карта уходов	104
Глава 22. Три месяца и десять дней	111
Глава 23. Показания	120
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Adam Walker

Скоро буду дома. Том V. Принятие

Скоро буду дома
Том V. Принятие
ADAM WALKER
2026
© Adam Walker, 2026

Глава 1. Кто там

За дверью было тихо.

Я стоял на площадке пятого этажа, слушал эту тишину и знал, что происходит по ту сторону: мальчик, только что спросивший «кто там», не отходит от двери и не отвечает. Он стоит на месте, босой, и решает, что делать с человеком, который назвался папой.

Я знал, сколько времени у него займёт это решение, потому что сам был таким мальчиком: я тоже открывал дверь один, пока мать работала, и точно так же стоял, держась за ручку, и считал до десяти, прежде чем сделать что бы то ни было.

Пока он считал, я успел разглядеть площадку.

Она была та же и не та. Стены перекрасили — раньше были зелёные, стали бежевые. Лифт поменяли: новые кнопки, чужой шрифт. У соседней двери стоял велосипед, пристёгнутый к перилам, и лежал резиновый коврик с ежом. У нашей — обыкновенный серый коврик, купленный без меня.

Ничего страшнее этого коврика я в тот вечер не видел, включая всё, что было потом. Семь лет — это когда в твоём доме меняют коврик, и никто не спрашивает.

Он не досчитал.

Он крикнул — не мне, вглубь квартиры, отвернувшись от двери, — и голос его сорвался на середине:

— Ма-ам!

Потом — шаги. Быстрые, взрослые, из кухни, по коридору. Их я тоже узнал, и вот это оказалось хуже всего: за семь лет я забыл лицо, забыл голос, забыл, как она смеётся, — а шаги остались. Тело помнило то, чего не помнила голова.

Шаги остановились у двери.

— Отойди, — сказала Мира сыну. — Встань вон там.

Щёлкнул замок. Второй. Дверь открылась на цепочку, и в узкой щели появилось её лицо.

✱

Я не буду описывать, как она изменилась.

Скажу иначе: я семь лет носил в себе её образ и три года не мог его собрать, а потом мне показали её в окне над мёртвой землёй, и я решил, что теперь помню. Я не помнил.

Женщина в дверной щели была старше той, что жила в моей памяти. У неё были другие волосы — короче и темнее. Между бровями лежала складка, которой не было раньше. И смотрела она так, как смотрят люди, семь лет прожившие с мыслью, что худшее уже случилось и повториться не может: спокойно, устало, готово ко всему.

Она посмотрела на меня.

И я увидел, как её лицо перестаёт быть лицом.

Я видел это дважды в жизни — у людей, которым сообщают о смерти близких, — и оба раза мне казалось, что хуже уже не бывает. Оказалось, бывает. С тем же самым лицом происходит то же самое, когда человеку сообщают обратное.

Она не закричала. Не заплакала. Не потянулась к цепочке.

Она стояла и смотрела на меня, и в щели было видно только глаз, часть щеки и руку, вцепившуюся в косяк так, что побелели костяшки.

— Мира, — сказал я.

Она не ответила.

Из глубины коридора, из-за её плеча, раздался голос мальчика — испуганный и очень взрослый в своей попытке быть спокойным:

— Мам? Кто это?

Мира не обернулась.

— Иди в комнату, — сказала она.

— Мам...

— Лео. В комнату.

✱

Он не ушёл.

Я услышал, как он отступил на пару шагов — и остановился. И через секунду увидел его в просвете, за её плечом: узкое лицо, тёмные волосы, торчащие с одной стороны, футболка не по размеру, босые ноги на полу коридора.

Мой сын смотрел на меня из-за спины матери.

Я запомнил его трёхлетним: круглым, тёплым, с ямочками на костяшках, с растрёпанным вихром, который не брала никакая расчёска. Вихор был на месте. Больше не было ничего: передо мной стоял худой длинный мальчик с чужим лицом, и это лицо было составлено из моего и её так, что перехватывало горло.

Он смотрел на меня, и в его глазах не было ничего, кроме настороженности.

Он меня не узнал.

Я знал, что так будет. Я считал это, стоя в мёртвой земле с кольцом в кулаке: три года и почти два месяца, ничего не помнят, обрывки, жёлтый свет, руки. Я знал это как цифру.

Цифра и человек — разные вещи, и я узнал об этом на площадке пятого этажа, в шесть часов вечера, четырнадцатого октября.

✱

Дальше была пауза, которую я не сумею объяснить никому, кто не стоял по обе стороны такой двери.

Мы молчали втроём, наверное, полминуты.

Я не говорил ничего, потому что всё, что я мог сказать, было хуже молчания. Она молчала, потому что решала. Мальчик молчал, потому что взрослые молчали.

С меня текло. Я стоял на чужом сером коврик в мокрой куртке не здешнего покроя, с холщовым мешком в руке, тощий, обросший, в сапогах, каких в этом городе не носят.

Я посчитал и это — то, что она видела перед собой. Мужчина лет сорока, худой до костей, с обветренным лицом и руками, которых у него не было семь лет назад: ладони в старых мозолях, костяшки сбиты, на левой — белая полоса шрама через два пальца. Одежда сшита вручную, крашена не тем, чем красят здесь. Голос сел от холода.

Всякий, кто открыл бы мне дверь в тот вечер, увидел бы бродягу. Она открыла и увидела меня, и я до сих пор не знаю, чего ей это стоило.

И тогда я сделал единственное, что пришло мне в голову, и сделал не думая.

Я нагнулся и стал снимать сапоги.

Не потому, что решил доказать. Не для того, чтобы её разжалобить, — я тогда вообще ничего не решал. Просто на пороге этой квартиры человек снимает обувь. Так было восемь лет, каждый день; так делаешь, не задумываясь, — рука сама идёт к заднику, пятка сама выходит из голенища.

Тело помнило, куда их ставить.

Я снял оба сапога, поставил их у стены — носками к стене, как ставил всегда, чтобы не мешали проходу, — и выпрямился.

Мира смотрела на мои носки — грубые, шерстяные, штопанные на пятке рукой Бренны.

Потом закрыла глаза.

Потом сняла цепочку.

✱

Она открыла дверь и отступила, освобождая проход. Не пригласила. Не сказала ни слова. Просто отошла в сторону и встала у стены, прижав к себе Лео, и я понял, что должен войти сам.

Я вошёл.

Прихожая была та же.

Я говорю это спокойно, а тогда мне пришлось взяться за косяк. Крючки на стене — те же, три штуки, четвёртый когда-то оторвали и не прибили. Зеркало. Полка под шапки. Дверь в комнату, дверь в кухню, и из кухни — свет.

Жёлтый.

Три года я держал этот свет в голове как вторую правду и повторял его вслух под чужим небом, в мёртвой тишине, женщине с фронта: в прихожей жёлтый свет, и Лео бежит из комнаты и говорит «па-па».

Он бежал. Он говорил. Семь лет назад.

Сейчас он стоял, прижавшись к матери, и молчал.

Дверь за моей спиной закрылась сама, от сквозняка, и щёлкнул замок — обычный, дверной, здешний звук, которого я не слышал семь лет.

Я стоял в своей прихожей и не знал, что делать дальше.

✱

— Ты, — сказала Мира.

Это было первое слово, которое она сказала мне.

— Я.

— Ты умер, — сказала она. Ровно, без выражения — как говорят вещь, установленную многолетней практикой. — Десятого марта. Утром. Тебя признали погибшим по машине и по вещам, потому что больше опознавать было нечего.

— Знаю.

— Что ты знаешь?

— Что опознавать было нечего, — сказал я. — Мира, я не знаю, что вам сказали и что вы там хоронили. Я знаю только своё: я умер за рулём, а очнулся целым. Со мной ушло всё, что на мне было.

Вот тут её лицо дрогнуло второй раз, и совсем иначе, чем в первый.

Позже я понял почему. Позже она мне это объяснила. А тогда я просто стоял и смотрел, как женщина, которая семь лет держала оборону против одной-единственной мысли, слышит эту мысль из чужих уст — и понимает, что была права.

— Мам, — сказал Лео. — Мам, ты чего?

— Всё нормально, — сказала Мира, не глядя на него. — Всё нормально, зайчик, стой тут. «Зайчик». Я поймал это слово на лету и спрятал: значит, она до сих пор его так зовёт, значит, это осталось, значит, было все семь лет.

Я стоял в трёх шагах от них и считал.

Я считал крючки, я считал, сколько раз она моргнула, я считал, сколько шагов до кухни. Это единственное, что я умею делать в такие минуты, — и хорошо, потому что иначе я бы сел на пол.

✱

— Как? — спросила Мира.

— Долго.

— Я не спрашиваю коротко или долго, — сказала она. — Я спрашиваю: как.

Я открыл рот и понял, что не могу.

Не потому, что было трудно объяснить. Потому что я стоял в своей прихожей, под своим жёлтым светом, в трёх шагах от своей жены и своего сына, и всё, что я собирался сказать, начиналось со слов «я умер и очнулся в другом мире», а такие слова говорят либо сумасшедшие, либо пьяные, либо те, кто пришёл за деньгами.

— Может, сядем? — сказал я. — Я лучше объясню сидя.

Мира посмотрела на меня ещё секунду.

Потом сделала то, что сделала бы на её месте одна женщина из тысячи: не стала звонить, не стала кричать, не стала выталкивать меня на площадку и не бросилась мне на шею.

Она сказала:

— На кухню.

И, повернувшись к сыну:

— Лео. Иди в комнату и закрой дверь. Я тебя позову.

— Мам!

— Я тебя позову, — повторила она. — Пять минут.

Он посмотрел на меня — снизу вверх, длинный, худой, десяти лет, с моим вихром на затылке, — и в этом взгляде было уже не только настороженное. Там было любопытство, и был страх, и было ещё что-то третье, чему я тогда не нашёл названия.

Потом он ушёл в комнату и закрыл дверь.

Не до конца. Щель осталась в ладонь шириной, и я слышал, как он там стоит: не отошёл, не сел, не включил ничего. Стоит у самой двери и слушает.

Правильно делает, подумал я. Так и надо. Не верь взрослым, которые выгоняют тебя из комнаты, чтобы поговорить о тебе.

Это была первая мысль об отцовстве, которая пришла мне в голову в моём собственном доме, и она оказалась не про любовь, а про то, что мальчику десяти лет нельзя врать.

✱

На кухне я сел на свой стул.

Он стоял там же, где всегда: у стены, спиной к плите. Я сел на него и понял, что сижу на своём месте за столом, на котором стоят две чашки, — и что делаю это без разрешения.

Хотел встать. Не смог.

Чашек на сушилке было две.

Я считал их дважды — сначала машинально, потом нарочно. Две. Не три, не одна: две, как было в мороке, как я говорил вслух в мёртвой земле, как показало окно над серой коркой.

Только теперь я знал, чьи они. Одна её, одна его. Моей тут не стояло уже семь лет, и никто не был в этом виноват.

Мира не села. Она встала у окна, скрестив руки, и это была позиция, а не поза: между нами оказался стол, за её спиной было окно, а дверь в коридор — на виду.

Штора была не задёрнута.

Я посмотрел на неё — на серое стекло, за которым горели фонари двора и шёл дождь, — и подумал о том, что где-то там, внизу, в тридцати метрах отсюда, на мокрой скамейке сидит женщина в чужой стране, без языка и без бумаг, и ждёт, пока я решу свои дела.

Ей я скажу об этом через час.

А нить в ту минуту молчала.

Я отмечаю это здесь, потому что отмечал тогда: стоял в своей кухне, смотрел на незадёрнутую штору и машинально проверял натяжение, как проверяют, на месте ли кошелек. Она была на месте. Она шла от груди назад и вверх, уходила в потолок, в мокрое небо, куда-то, куда у меня нет направления, — и не подавала признаков.

Позже я пойму, что в тот вечер её просто ещё не успели натянуть с той стороны.

— Говори, — сказала Мира.

Я посмотрел ей в лицо.

Под рёбрами у меня шёл ровный чужой ход — одиннадцать тиков между толчками. От груди назад и вверх уходила нить, натянутая, молчащая, ждущая. В кошельке лежали латунная бирка, бронзовая бляха и мёртвое кольцо. В запасе было восемь месяцев, и первый вечер из этих восьми месяцев уже начался.

— Я умер, — сказал я. — Десятого марта, утром, за рулём. Это правда, Мира. А потом я очнулся.

Глава 2. Кухня

Я рассказывал ей два часа, и за эти два часа она не села ни разу.

Стояла у окна, скрестив руки, и слушала. Иногда переставляла что-нибудь на подоконнике — банку, коробок, — не глядя, машинально, как делают, когда нужно занять руки. Один раз вышла в коридор проверить, закрыта ли дверь в комнату. Вернулась и встала на прежнее место.

Я говорил всё подряд, по порядку, как считают опись.

Про столб и белый свет. Про овраг, в котором очнулся, и первую зиму в чужом городе, где меня никто не ждал. Про Гильдию, бронзовую бляху и лавку Бруна. Про Колодец и пятьдесят ярусов. Про то, чем стал за три года, и чем за это заплатил. Про мёртвую землю, про сто три дня пути, про воронку и комок размером с кулак. Про то, что вынес оттуда и что оно со мной делает.

Про Кассию.

Про восемь месяцев.

Я не смягчал ничего и не подбирал слов. Смягчать было нельзя — она бы услышала.



Когда я замолчал, Мира не сказала ни слова.

Она отошла от окна, взяла чайник, налила воды, поставила на плиту. Зажгла. Достала с полки две чашки, посмотрела на них секунду и достала третью.

Поставила все три на стол.

Потом села — впервые за два часа — напротив меня, на своё место, и сказала:

— Теперь по порядку. С самого начала. И я буду перебивать.

Вот тогда я по-настоящему понял, что дома.

Не когда снял сапоги. Не когда увидел жёлтый свет в прихожей. А когда женщина, которой муж вернулся с того света и рассказал про другой мир, налила чаю и сказала: «Теперь по порядку, и я буду перебивать».

Так она разбирала со мной все важные разговоры восемь лет. Так она проверяла мои отчёты, когда я приносил их домой. Так она однажды за сорок минут разнесла мою идею уйти в свободные аудиторы — и была права.

Мира ничего не принимала на слово. Никогда. Ни от кого.

Прежде чем начать, я выложил на стол всё, что принёс.

Не всё, что было на мне. Обручальное кольцо осталось под рубахой, на кожаном шнурке. В первые годы в чужом мире я держал его в кошеле и надевал лишь тогда, когда не боялся потерять в бою. Позже стал носить у сердца и не положил рядом с остальными предметами: оно не доказывало существование Вэйлмора. Оно доказывало, кем я был до него. Тусклое кольцо, которое открыло дорогу домой, было другим.

Латунную бирку с оплавленным краем. Бронзовую бляху с чеканом, которого нет ни в одном земном справочнике. Тусклое кольцо без клейма и без камня — тяжёлое, холодное, мёртвое.

Мира не тронула ничего. Смотрела долго.

— Это ничего не доказывает, — сказала она наконец. — Это можно купить на любой барахолке.

— Знаю.

— Тогда зачем выложил?

— Затем, что это всё, что у меня есть, — сказал я. — И потому что врать тебе я собираюсь ровно ноль раз, а начинать честность лучше с предметов.

Я налил себе чаю и начал заново.

✱

Она перебивала.

Не там, где перебил бы обычный человек. Обычный человек цепляется за чудеса: другой мир, магия, чудовища. Мира не спросила ни про одно чудо.

Она спрашивала про быт.

— Что ты ел?

— По-разному. Первый год плохо. Потом хорошо: я был богатый человек.

— Насколько богатый?

— Собственная станция, доля в промысле, титул. Земля с людьми на ней.

— Кому ты всё это оставил?

— Академии. И городу, — сказал я. — Кроме того, что принадлежало не мне.

Она кивнула и запомнила. Не одобрила и не осудила — просто взяла на учёт.

— Ты болел?

— Дважды. Оба раза после ярусов, оба раза чуть не умер.

— Кто лечил?

— Женщина по имени Велисса. Ведьма — это у них профессия, а не ругательство.

— И она же тебе сказала про восемь месяцев.

— Про четырнадцать. Восемь осталось.

Один раз я предложил ей доказательство.

— Хочешь, покажу? — сказал я. — То, что я умею. Ты увидишь и перестанешь сомневаться за одну минуту.

— Что для этого нужно?

— Ничего. Только я потрачу месяц.

Мира посмотрела на меня.

— Из восьми?

— Из восьми.

— Значит, нет, — сказала она. — Никогда мне этого не предлагай. Ни сегодня, ни потом, ни если я буду умолять. Запомнил?

— Запомнил.

Я записываю это здесь потому, что она сказала это до того, как поверила хоть одному моему слову. Женщина, считавшая мой рассказ бредом сумасшедшего, на всякий случай запретила мне тратить месяц на её сомнения.

Мира держала чашку двумя руками и смотрела в неё.

— Спал ты где? — спросила она.

— Мира.

— Отвечай на вопрос, — сказала она. — Я к нему шла двадцать минут.

✱

Вот здесь надо остановиться и сказать прямо, потому что дальше без этого не понять ни её, ни меня, ни того, что было потом.

Я говорил ей про Кассию четыре раза за эти два часа.

Первый — в самом начале, в общем перечне: женщина с фронта, учит подростков драться, пошла со мной в мёртвую землю. Второй — когда рассказывал про поход, потому что без неё рассказывать про поход бессмысленно: она там на каждой странице. Третий — про зыбь и три капсулы. Четвёртый — когда дошёл до двери и сказал, что она вошла первой.

Мира ни разу не переспросила.

Она слушала, кивала и шла дальше — и я, дурак, решил, что она не придавала этому значения.

Она придавала. Она просто дошла до этого вопроса по своему порядку, как доходят до строки в отчёте: сначала общие цифры, потом расшифровка.

— Спал я где придётся, — сказал я. — В походе — на земле, в связке. В городе — в своём доме.

— В своём доме, — повторила Мира. — Один?

— Нет.

Она поставила чашку.

— Сколько лет? — спросила она.

— Два.

— И ты вернулся с ней.

— Она сидит внизу, на скамейке во дворе, — сказал я. — Третий час под дождём. Я сказал тебе об этом ещё в самом начале, но тогда ты слушала другое, и я решил, что скажу ещё раз, когда дойдём.

Мира встала.

Подошла к окну — тому самому, у которого простояла два часа, — отодвинула штору вбок и посмотрела вниз, во двор.

Я не видел её лица.

— В синей куртке? — спросила она.

— Да.

— Она сидит прямо, — сказала Мира. — Два часа под дождём и сидит прямо, как на приёме.

— Она четыре месяца прожила на голой земле, где нет ни травы, ни воды, — сказал я. — Дождь для неё роскошь. Это её слова.

Мира постояла у окна ещё немного. Потом задёрнула штору — впервые за вечер — и вернулась за стол.

✱

— Хорошо, — сказала она. — Теперь я скажу, а ты будешь слушать. Перебивать не надо, я всё равно собоюсь.

Я кивнул.

— Я тебе не верю, — сказала Мира. — Ни одному слову. Ни про мир, ни про яму, ни про восемь месяцев. Это первое, и не спорь: я не сумасшедшая, а всё, что ты рассказал, — это то, что рассказывают сумасшедшие и мошенники.

— Я знаю, как это звучит.

— Ты не знаешь, — сказала она. — Ты это прожил, тебе кажется, что оно очевидно. А я сижу на своей кухне, и мне рассказывают, что мой муж, которого признали погибшим семь лет назад, три года был графом в другом мире.

Она подняла руку, останавливая меня.

— Это первое. Теперь второе. Я знаю, что это ты.

Мы посмотрели друг на друга.

— Я поняла это ещё в дверях, — сказала Мира. — Не по лицу — лицо чужое, ты худой и седой. По тому, как ты снимал сапоги. Носками к стене, чтобы не мешали проходу. Мужиков, которые ставят обувь носками к стене, в этом городе трое, и двое из них — твои бывшие коллеги.

Она усмехнулась — коротко, зло, без веселья.

— Понимаешь, что у меня в голове? Я знаю, что это ты, и не верю ни одному твоему слову. Одновременно. Живи с этим, я вот живу уже два часа.

— Понимаю, — сказал я.

— Ничего ты не понимаешь. — Она отставила чашку. — Ты хоть представляешь, чего мне стоило перестать тебя ждать?

Я молчал.

— Четыре года, — сказала Мира. — Четыре года, Адам. Я не хоронила тебя по-человечески — было нечего хоронить, был закрытый гроб с твоим костюмом и часами. Я год ходила по инстанциям и требовала, чтобы искали дальше. Потом ещё два года просыпалась и первую секунду думала, что ты в душе. Я вырастила сына, который тебя не помнит. Я перестала ждать на четвёртый год, и это, — она посмотрела мне в лицо, — самая тяжёлая работа, какую я делала в своей жизни. Тяжелее родов. Тяжелее похорон, которых не было.

Она перевела дыхание.

— А сегодня в шесть вечера ты позвонил в дверь.

✱

Мы помолчали.

— Я не прошу ничего, — сказал я наконец. — Ни поверить, ни пустить, ни простить. Я пришёл сказать, что жив, и сказать всё как есть. Скажешь уйти — уйду сегодня же.

— Вот этого не надо, — сказала Мира.

— Чего?

— Благодарства этого. — Она поморщилась. — «Скажешь — уйду». Я знаю этот приём, ты им пользовался и раньше: сначала выложить, потом красиво предложить уйти, чтобы человек сам сказал «нет, останься». Не работает, Адам. Ты никуда не пойдёшь, потому что тебе некуда идти, ты умер по документам и у тебя нет ни рубля. Давай сразу считать честно.

Она была права по всем пунктам, и это было первое за вечер, что меня по-настоящему обрадовало.

— Хорошо, — сказал я. — Считаю честно.

— Считаю честно, — согласилась Мира. — Тогда так.

Она загнула палец.

— Сегодня ты ночуешь здесь. На кухне, на полу или на стульях, как сумеешь. Не потому, что я тебя принимаю, а потому, что не выгонять же человека в дождь.

Второй палец.

— Завтра мы разговариваем ещё раз, при свете и на трезвую голову. И я задаю вопросы, ответы на которые не знает никто, кроме тебя и меня.

Третий.

— С сыном ты сегодня не разговариваешь. Совсем. Я скажу ему сама и то, что сочту нужным.

— Он всё слышал, — сказал я. — Он стоял у двери всё это время.

Мира замерла.

Потом закрыла лицо руками — на секунду, не больше, — и, отняв ладони, сказала уже другим голосом:

— Господи. Ну конечно, стоял. Он же твой.

Четвёртый палец.

— И последнее. — Она посмотрела в сторону окна, за которым была задёрнутая штора и двор. — Я сейчас спущусь к ней. Сама.

Я не сразу нашёлся.

— Мира. Она тебя не поймёт. Она говорит на своём.

— Не всё для этого разговора требует слов, — сказала Мира. — Ты останешься здесь. С сыном.

— Я могу спуститься с тобой.

— Не можешь, — сказала она. — Ты будешь стоять между нами и переводить, и обе мы будем говорить с тобой, а не друг с другом. Так не пойдёт. Женщина сидит третий час под дождём в чужой стране — я не знаю, кто она тебе и что мне со всем этим делать, и знать пока не хочу. Но я не та тварь, которая держит человека на улице в октябре, чтобы обозначить позицию.

Она встала, достала из шкафа чистое полотенце, взяла с крючка куртку.

— И вот что, Адам, — сказала она, обуваясь в прихожей. — Имей в виду: разрешение переночевать — это разрешение переночевать. Всё остальное будем решать не сегодня и, скорее всего, не втроём.

Дверь закрылась.

✱

Я остался один на кухне, в которой не был семь лет.

Из-под двери детской шла полоска света. На столе стояли три чашки, из которых выпили только две. За окном шёл дождь.

Я стоял посреди кухни, держась за спинку стула, потому что меня повело.

Не от слабости — от арифметики.

Я получил больше, чем считал возможным. Я приехал с восемью месяцами, чужой женщиной под дождём и невероятной историей, и рассчитывал в лучшем случае на то, что меня выслушают на площадке. А меня посадили за стол, налили чаю и достали третью чашку — прежде чем поверили. И это было не милосердие и не слабость: это её обычная манера — сначала обеспечить людям человеческие условия, а потом уже с ними разбираться.

Она не поверила ни одному моему слову, знала, что это я, и пошла вниз сама: сначала ей нужно было увидеть Кассию без меня между ними.

Я стоял в своей кухне и думал, что за семь лет забыл главное: не лицо, не голос и не смех.

Я забыл, какая она.

Потом за моей спиной скрипнула дверь детской, и голос, который я всё ещё не узнавал, спросил из коридора:

— А вы правда мой папа?

Глава 3. Женщина во дворе

— А вы правда мой папа?

Он стоял в дверях детской, держась за косяк, и смотрел на меня через весь коридор.

Я знал десяток правильных ответов на этот вопрос и понимал, что все они длинные. Я знал, что через двадцать минут вернётся его мать, и знал, чем кончится разговор, начатый вопреки её прямому запрету и брошенный на середине.

— Правда, — сказал я. — Больше сегодня ничего не скажу. Мама велела разговаривать завтра, и она права.

Лео помолчал.

— Она всегда права, — сказал он с интонацией, которой я не слышал у трёхлетних. — Ладно.

И закрыл дверь.

Не до конца.

✱

Я подошёл к кухонному окну, отодвинул штору и стал смотреть вниз.

С пятого этажа двор был виден весь: детская площадка с новой пластиковой горкой, три тополя, шлагбаум, вечная лужа у второго подъезда. Фонари горели через один — так же, как семь лет назад. Дождь шёл ровный, мелкий, октябрьский, из тех, что не кончаются до утра.

На скамейке в десяти шагах от подъезда сидела Кассия.

Прямая. Руки на коленях. Мешок стоял под скамейкой, куда почти не доставал дождь. Три часа под дождём — и посадка та же, что была на её зарубке в сорока шагах от черты.

Она подняла голову за секунду до того, как из подъезда вышла Мира.

✱

Я смотрел на них сверху, из тёплой кухни, и слов не слышал вовсе.

Поэтому расскажу двумя частями: сначала то, что видел сам, потом то, что она рассказала мне позже, — и во второй части ни одно слово не моё.

Вот что я видел.

Мира вышла с полотенцем в руке, остановилась под козырьком и посмотрела на скамейку. Кассия встала. Не вскочила — поднялась, как поднимаются при появлении старшего, и осталась стоять у скамейки, не делая шага навстречу.

Мира пошла к ней сама.

Дошла до скамейки и остановилась в двух шагах — точно на том расстоянии, на котором они и должны были остановиться: ближе было бы вторжением, дальше — безразличностью.

Они стояли друг против друга под дождём: моя жена в накинутах куртке и женщина с фронтира в мокром насквозь чужом плаще.

Потом Мира протянула ей полотенце.

Кассия его не взяла.

Она сделала другое: расстегнула плащ, вынула из-за пазухи что-то маленькое и подала Мира на раскрытой ладони. Я не разглядел с пятого этажа, что это. Я узнал позже, и когда узнал — сел.

Мира взяла. Посмотрела. Постояла.

Потом отдала обратно и всё-таки накинута полотенце Кассии на плечи — сама, как накидывают ребёнку, — и села на мокрую скамейку.

Кассия села рядом.

Так они и сидели минут двадцать: две женщины на мокрой скамейке под дождём, в фонарном свете, и говорили — я видел, как они по очереди поворачивают головы.

О чём можно говорить двадцать минут без общего языка, я не понимал тогда и не понимаю сейчас.

✱

На пятнадцатой минуте я почувствовал, что в кухне не один.

Лео стоял у двери — босиком, в той же футболке не по размеру, — и смотрел мимо меня в окно, на две фигуры под фонарём.

— Это она? — спросил он.

— Она.

— Мама её выгонит?

— Не знаю, — сказал я. — Спроси у мамы.

Он подумал.

— Она бы уже выгнала, — сказал Лео. — Мама быстро выгоняет, если решила. А они сидят.

И ушёл к себе, и я в третий раз за вечер отметил про себя, что у моего сына работает голова и что он читает взрослых лучше, чем я в его возрасте.

Через двадцать минут они встали и пошли к подъезду.

Я успел отойти от окна и сесть на своё место за столом, потому что стоять у окна и смотреть, как две женщины решают твою судьбу, — это ровно то, чего я делать не имел права.

Они вошли вместе.

Мира сняла куртку, повесила на крючок. Кассия остановилась на пороге, сняла сапоги — я не учил её этому, она просто увидела мои у стены и повторила, — и поставила их носками к стене.

Мира заметила. Ничего не сказала.

— Кухня там, — сказала она Кассии и показала рукой. — Ванная тут. Полотенце возьмите новое, синее.

Кассия посмотрела на меня.

— Она говорит: ванная там, полотенце синее, — сказал я.

— Спасибо, — сказала Кассия по-русски.

Мира обернулась.

— Она знает слово?

— Она знает три, — сказал я. — Учила в дороге. «Спасибо», «здравствуйте» и «Лео».

Мира ничего не ответила и ушла в комнату к сыну.

✱

Дальше был вечер, который я перескажу коротко.

Кассия вымылась и вышла в моей старой футболке, которую Мира достала из шкафа не глядя. Ели молча. Мира постелила Кассии на диване в большой комнате — не на полу, не на стульях; мне на кухне, на двух сдвинутых табуретах, и это распределение было сообщением, которое я прочёл сразу и без обиды.

Лео вышел один раз — за водой. Остановился в дверях кухни, посмотрел на Кассию.

Кассия посмотрела на него.

— Лео, — сказала она.

Он вздрогнул. Потом кивнул.

— Ага, — сказал он. — Лео.

И ушёл, забыв воду.

Перед сном Кассия постояла в дверях кухни и оглядела её всю: плиту, полки, штору, стол, три чашки на сушилке.

— Ниже, чем я думала, — сказала она.

— Что ниже?

— Потолок. — Она подняла руку, не дотянувшись до него ладони на две. — Ты рассказывал про свой дом три года. Я представляла его выше и просторнее, а он маленький и тёплый. — Она помолчала. — Это хорошо, герой. За такой держатся крепче, чем за большой.

В половине двенадцатого Мира вышла на кухню, налила себе воды, постояла у окна.

— Послезавтра в девять, — сказала она мне. — Ты, я, на кухне. Завтра займёмся тем, как вы вообще будете здесь жить. Она — потом, отдельно.

— Хорошо.

— И ещё. Я сказала ей внизу, но она не поняла, а ты переведёшь. — Мира говорила ровно, глядя в окно. — Она живёт здесь до весны. Не «пока», не «сколько понадобится» — до весны. Это не приговор и не милость, это срок, на который я согласна вперёд, не зная ничего. В марте посмотрим.

— Почему до весны?

— Потому что в марте я в состоянии думать, а сейчас нет, — сказала Мира. — И потому что зимой людей на улицу не выставляют. Переведи ей дословно, Адам. Без смягчения.

Я перевёл ей сразу, дословно.

Кассия выслушала и кивнула — так, как кивала, принимая срок и цифру.

— Разумно, — сказала она. — Я бы дала меньше.

— И, Адам. — Она поставила стакан. — Она сидела под дождём три часа. Я это запомнила и учла, и ты имей в виду, что учла я это в её пользу, а не в твою.

Ушла.

Свет над плитой она оставила гореть — как оставляла всегда.

✱

Теперь вторая часть.

Про этот разговор я спрашивал их обеих, и обе рассказали — Кассия через неделю, Мира через два месяца. Рассказы сошлись почти во всём, и вот что там было.

Мира спустилась и не знала, что скажет. Она рассчитывала на одно: посмотреть на женщину вблизи. Она сама потом сказала: «Мне надо было увидеть, что ты не привёл девчонку».

Она увидела женщину лет двадцати шести, худую, обветренную, с руками, на которых зажившие следы от верёвки, — и с осанкой, от которой Мире, по её словам, «сразу стало легче и сразу хуже».

Первое, что сделала Кассия, — вынула то самое, маленькое.

Серебряное кольцо на шнурке. Стёртое до тонкости, материнское, единственная вещь, которую она вынесла из своего мира.

Она подала его Мире на ладони и сказала — по-своему, зная, что её не понимают:

— Это всё, что у меня есть. Я пришла ни с чем, в твой дом, к твоему мужу. Я знаю, чего это стоит. Захочешь — скажи «уходи», и я уйду.

Мира не поняла ни слова.

И поняла всё, потому что жест был понятнее любого языка: человек показывает пустые руки и одну-единственную вещь, которую не отдаст, — а всё остальное отдаёт вперёд.

Она отдала кольцо обратно и накинула на Кассию полотенце.

А потом они сидели двадцать минут и разговаривали — на двух языках, ни один из которых другая не знала.

Мира говорила по-русски. Кассия отвечала по-своему. Обе это понимали и обе продолжали, потому что дело было не в словах.

Кассия сказала мне об этом так:

— Я поняла главное. Она меня не боится. Женщина, у которой муж вернулся с того света с чужой бабой, не боится этой бабы — это, герой, редкая порода. И я решила: с такой можно договориться. Не сразу и не за один вечер. Но можно.

А Мира сказала об этом иначе — два месяца спустя, на этой же кухне, когда уже всё было по-другому:

— Я села рядом и стала говорить ей, что не собираюсь её выгонять сегодня, что до весны она может жить, что мы разберёмся. Я говорила минут десять, и она слушала. А потом я поняла, что говорю не ей. Я говорила это себе — вслух, при живом человеке, который не понимает ни слова. Это, знаешь, оказалось очень удобно. Я за десять минут решила то, чего не могла решить два часа наверху.

— Что решила? — спросил я.

— Что не буду выбирать между вами сегодня, — сказала Мира. — И что тебя, скорее всего, придётся делить. И что я к этому не готова, и что готовиться придётся быстро, потому что у тебя восемь месяцев.

Она помолчала.

— Знаешь, что самое поганое? — сказала она. — Я в тот вечер ещё не верила ни в какие восемь месяцев. А считать уже начала.



Я лёг на два сдвинутых табурета в первом часу ночи.

Спать было нельзя: спина, ноги, привычка. Я лежал, смотрел на свет над плитой и слушал квартиру.

В большой комнате ворочалась на диване женщина, которая прошла со мной тысячу вёрст мёртвой земли и сегодня три часа просидела под дождём, чтобы не входить первой в чужой дом.

За стеной спала женщина, которая семь лет держала этот дом и сегодня вечером за двадцать минут под дождём решила больше, чем я за два часа за столом.

В детской спал мальчик, которому я сегодня сказал два слова и одно из них было «правда».

Под рёбрами у меня шёл ровный чужой ход. Нить молчала. До первой аномалии оставалось пятьдесят два дня, и я об этом ещё не знал.

Я лежал на табуретах в собственной кухне и думал, что это самая странная ночь в двух моих жизнях — и что она удалась.

Глава 4. Под одной крышей

Кассия встала в пять.

Я не спал и слышал всё: как она поднялась с дивана, как постояла, привыкая к темноте чужой комнаты, как пошла — босиком, без единого лишнего звука, той самой походкой, которой ходила по мёртвой земле в трёх шагах за моей спиной.

Она обходила квартиру.

Я лежал на своих табуретах и слушал, как женщина с фронта принимает под охрану пятьдесят четыре квадратных метра в панельном доме.

Через двадцать минут она пришла на кухню, села напротив меня на табурет и доложила — вполголоса, чтобы не разбудить спящих, коротко, по пунктам, как докладывала все сто три дня.

— Выход один, — сказала Кассия. — Дверь железная, замка два, оба хорошие. Пятый этаж, вниз — по одной лестнице, других нет. Окна открываются, но за ними воздух: прыгать некуда даже мне.

— Это дом, а не крепость.

— Я поняла, что это дом, — сказала она. — Я тебе не претензию высказываю, герой, я делаю опись. — Она загнула палец. — Огонь. У них в стене трубы с горючим, и это горючее подведено прямо к плите. Ты про это не рассказывал.

— Газ. Я не думал, что это важно.

— Это первое, что важно, — сказала Кассия. — Дальше. В комнате мальчика стоит окно во всю стену, а под окном — короб, из которого идёт тепло. Тепло идёт из стены, Адам. У вас топят из стен.

— Батареи. Вода по трубам, греется в другом месте, за деньги.

Она помолчала, укладывая.

— Хорошо, — сказала она. — И последнее. Я нашла место, где вода.

✱

С водой вышло то, чего я не предусмотрел.

Она отвела меня в ванную и показала на кран так, как показывают на след у водополя.

— Я открыла, — сказала Кассия. — Ночью, тихо, чтобы не будить. Она идёт.

— Идёт.

— Сколько?

— Что «сколько»?

— Сколько её там, — сказала Кассия, и я услышал в её ровном голосе то, что слышал, когда мы считали фляги. — Сколько можно взять, пока не кончится.

Я объяснил.

Я объяснял минут пять: водопровод, станции, трубы под всем городом, вода в каждой квартире, круглые сутки, ровно столько, сколько нужно, и ещё столько же, и никто её не считает.

Кассия слушала, глядя на кран.

Потом открыла его снова.

И стояла и смотрела, как течёт вода, — минуту, две, три. Просто стояла и смотрела в раковину, и я в какой-то момент понял, что не должен на неё смотреть, и вышел в коридор.

Она пробыла там ещё немного. Потом закрыла кран и вышла с сухим спокойным лицом.

— Тринадцать раз, — сказала она.

— Что?

— Тринадцать раз ты чистил воду в мёртвой земле. Тринадцать месяцев твоей жизни, герой. Из них девять — моя вода. — Она смотрела мимо меня, в стену. — А тут она из трубы. Просто так. Сколько хочешь.

— Кассия.

— Я не жалею, — сказала она. — Я к этому привыкну, и довольно быстро, я умею. Просто дай мне сегодня один день, в течение которого я буду про это думать. Завтра перестану. Больше она к этому не возвращалась ни разу.

✱

Лео вышел на кухню в семь.

Он вышел, ещё не проснувшись до конца, — в трусах и футболке, чесал затылок, шёл к холодильнику по привычке, — и остановился посреди кухни.

За столом сидела Кассия и точила нож.

Она делала это так, как делают на фронтире, где нет точильных камней в каждом доме: перевернув кружку и водя лезвием по неглазурованному кольцу на её донце. Кухонный нож, наш, с деревянной ручкой, который восемь лет резал хлеб в этом доме.

Лео стоял и смотрел.

Кассия подняла глаза, кивнула ему и продолжила: три движения с одной стороны, три с другой, проверка ногтем.

— Доброе утро, — сказал я от плиты.

— Ага, — сказал Лео, не отрывая глаз. — А что она делает?

— Точит нож.

— Об кружку?

— Об кружку. У неё дома так делают.

Он подумал.

— Круто, — сказал Лео.

Он сел на своё место — напротив неё, — и с минуту они молчали: женщина точила, мальчик смотрел. Потом он показал пальцем на нож и на себя и поднял брови: покажешь?

Кассия поняла жест мгновенно — жесты она понимала лучше всех, кого я знал.

И покачала головой.

— Нет, — сказала она по-своему, и я перевёл: — Она говорит: нет. Спроси мать. Если мать разрешит, она покажет.

— А если мама не разрешит?

— Тогда не покажет.

Лео посмотрел на неё оценивающе — тем самым взглядом, которым его мать оценивала мои отчёты.

— Ясно, — сказал он.

И я увидел, как он поставил ей мысленно первую галочку.

Тем, кто вырос при одном взрослом, важнее всего не доброта. Им важно, чтобы взрослый не заискивал.

✱

Мира встала в половине восьмого и застала на своей кухне следующую картину: муж, вернувшийся с того света, жарит яичницу; чужая женщина точит его хлебный нож о чашку; сын сидит за столом и смотрит на это, забыв про телефон.

Она постояла в дверях.

— Так, — сказала Мира. — Лео. Одевайся, ешь, в восемь двадцать выходишь.

— Мам.

— Что «мам»?

— Ну ты серьёзно? — сказал Лео. — Школа? Сегодня?

— Абсолютно серьёзно, — сказала Мира. — В школу ты идёшь каждый день. И сегодня тоже. И завтра.

— Но...

— Лео. — Она села напротив него. — Слушай меня внимательно. У нас дома произошло невероятное. Я пока не знаю, что с этим делать. Я знаю только одно: пока я разбираюсь, всё остальное должно идти как всегда. Ты учишься, я работаю, мы ужинаем в семь. Иначе мы за неделю превратимся в цирк.

Он посопел.

— А они? — спросил он, кивнув на нас.

— А они, — сказала Мира, — будут сегодня заниматься тем же, чем ты. Только своим. Так был установлен порядок, который продержался всю зиму и спас нас всех.

✱

Дальше был день, и это был день расчётов.

Мира взяла лист бумаги и стала считать вслух — своё ремесло, как счёт моё.

Что есть. Квартира. Её работа. Пенсия Лео по потере кормильца: выплаты останоят, а придётся ли возвращать уже полученное — должен выяснить юрист. Это она сказала первой, ещё до того, как я успел подумать. Накопления: столько-то, на три месяца при трёх едоках, при четырёх — на два с небольшим.

Чего нет. У меня — паспорта, полиса, счёта, права работать, права лечиться, права поехать куда бы то ни было. У Кассии — вообще ничего: она не существует ни в одном списке ни одной страны мира.

Что делать. Юрист. Восстановление в правах: заявление в суд, отмена решения, экспертиза. Мира записала в столбик и сама подчеркнула итог: «полгода, если повезёт».

— У тебя нет полугода, — сказала она.

— Нет.

— Значит, будем считать, что это делается не для тебя, — сказала Мира, — а для нас. Чтобы потом было чем доказывать, что ты вообще существовал.

Она написала на листе ещё одну строку и повернула лист ко мне.

«Одежда. Обоим. Сегодня».

— В таком виде вы из подъезда не выйдете, — сказала она. — Он в сапогах ручной работы, она в плаще, которого нет ни в одном магазине. На вас через два дня будет смотреть весь двор.

✱

Одежду покупали днём, в сетевом магазине в двух остановках, за наличные, которые Мира сняла со своей карты.

Я записываю это здесь, потому что для меня это была одна из самых тяжёлых сцен той осени, а для читателя она, наверное, будет смешной.

Граф Грейфолл, владелец станции и доли в промысле, человек, оставивший Академии всё, что имел, стоял в примерочной кабинке чужого магазина и мерил джинсы, купленные ему женой на её деньги.

Кассия, между прочим, справилась лучше меня.

Она отнеслась к магазину как к складу: обошла, посмотрела, оценила количество и качество, ничему не удивилась вслух. Выбрала быстро: две пары штанов, три рубашки, тёплую куртку, ботинки на толстой подошве. Всё тёмное, всё простое, всё на размер свободнее.

— Чтобы двигаться, — объяснила она мне, а я перевёл Мире.

Мира посмотрела на выбранное и коротко кивнула — впервые за сутки одобрительно.

На кассе Кассия остановилась и долго смотрела, как женщина проводит вещи через светящееся стекло.

— Она считает? — спросила она.

— Считает машина.

— А человек?

— Человек нажимает.

Кассия помолчала.

— У вас всё считают машины, — сказала она. — Тогда почему у вас всё равно не сходится?

Я не нашёлся, что ответить, и не нахожусь до сих пор.

По дороге домой она задала ещё один вопрос — единственный за весь день, который был не про устройство.

— Их много, — сказала она, глядя на улицу, на машины, на людей, идущих с работы. — Сколько в этом городе?

— Больше пяти миллионов, — сказал я. — Только в этом городе.

Она не переспросила и не удивилась вслух — она стала считать, я это видел по лицу. Миллион в её мире — слово из книг, которым считают звёзды и песчинки, а не людей.

— Это сколько Грейфоллов? — спросила она наконец.

— Больше тысячи.

Кассия шла и молчала полквартала.

— В Грейфолле около пяти тысяч, — сказала она наконец. — Во всём городе. А здесь мы проехали две остановки и даже не увидели его края. — Она повернулась ко мне. — Я не пугаюсь, герой, не смотри так. Я просто поняла одну вещь, и хочу, чтобы ты её тоже понял, раз уж считаешь всё подряд. Если сюда придёт то же, что было у нас, — считать будет некому и некогда.

❖

Пока Мира была на работе, я сделал единственное, что мог сделать человек без документов, денег и права выходить далеко от дома.

Я считал.

Сел за кухонный стол с её листом и переписал всё заново: приход, расход, сроки, вилки. Потом свёл три календаря — юридический, семейный и свой — и увидел то, что и так знал: юридический кончается позже, чем мой.

Потом посчитал, сколько стоит их месяц. Квартплата, еда, школа, проезд, лекарства, «прочее» — я вывел «прочее» отдельной строкой, потому что за двенадцать лет прошлой жизни выучил: у семьи, где нет строки «прочее», в конце месяца всегда не сходится.

К вечеру у меня был бюджет на четверых до марта.

Это было первое, что я сделал полезного в родном мире за семь лет, и я на него потратил шесть часов и не устал ни капли.

Вечером мы сидели на кухне вчетвером и ужинали.

Это было первое общее сидение за столом, и прошло оно почти молча: Лео рассказывал про школу, Мира спрашивала, я слушал, Кассия ела и смотрела.

Телевизор работал в комнате, приглушённо, для фона — Мира включала его вечерами по привычке, оставшейся от одиноких лет.

И в новостях, в самом конце, между погодой и спортом, дали сюжет на сорок секунд.

Международная геологическая экспедиция в Северной Африке досрочно свернула работы. Показали палатки, песок, каменистое плато. Сказали: приборы дают несогласованные показания, причины устанавливаются, участники эвакуированы, никто не пострадал. Учёный в кадре сказал, что подобные аномалии магнитного поля известны, ничего исключительного в них нет.

Сюжет кончился, и пошёл спорт.

Никто из нас четверых не сказал ни слова. Лео тянулся за хлебом. Мира встала убирать. Кассия доедала.

Я запомнил.

Не потому, что что-то понял, — я ничего не понял и не мог понять: мало ли в мире мест, где врут приборы. Просто я запоминаю всё, где сказано «причины устанавливаются», — это профессиональное, из прошлой жизни: там, где не сошлось, надо смотреть внимательнее.

Я запомнил и забыл к следующему утру.

Вспомнил через пятьдесят три дня.

✱

Ночью Мира вышла на кухню, где я лежал на своих табуретах.

Постояла. Налила воды.

— Завтра в девять, — сказала она. — Как договаривались. Сегодня я не могла: сегодня надо было купить вам штаны и отправить ребёнка в школу.

— Я понял.

— Ничего ты не понял, — сказала она. — Я не про штаны говорю. Я про то, что сутки прошли, а я ни разу не заплакала и ни разу на тебя не накричала. Знаешь почему?

— Нет.

— Потому что было чем заняться, — сказала Мира. — Я двадцать четыре часа подряд решала задачи и ни минуты не думала о том, что произошло. Это называется работать вместо того, чтобы чувствовать. Я так делала первые полгода после твоих похорон.

Она поставила стакан.

— Так вот, Адам. Завтра в девять я перестану. И ты имей в виду, что будет тяжело.

Ушла.

Свет над плитой остался гореть.

Я лежал и слушал квартиру: дыхание за стеной, скрип дивана в большой комнате, гул холодильника, шум машины во дворе.

Под рёбрами шёл ровный чужой ход, одиннадцать тиков между толчками, и до четырнадцатого июня оставалось семь месяцев и тридцать дней.

Первые сутки мы прожили.

Глава 5. Доказательства

Разговор был назначен на девять, и в девять она сидела за столом с блокнотом.

Обычным блокнотом на пружине, из тех, что лежат у неё в сумке для работы. Ручка. стакан воды. Лео в школе, Кассия отправлена гулять — «пусть посмотрит район, ей полезно, а нам нужно до обеда».

— Садись, — сказала Мира.

Я сел.

— Правила такие, — сказала она. — Я задаю вопрос, ты отвечаешь. Не помнишь — говоришь «не помню», а не придумываешь. Соврёшь один раз — я это увижу, и разговор кончится. Понял?

— Понял.

— И ещё. — Она открыла блокнот на исписанной странице. — Я готовилась. Ночью, когда ты спал на табуретах, я сидела в комнате и записывала. Тридцать один вопрос. Не удивляйся, если они будут дурацкие.

Так я узнал, что моя жена за одну ночь составила план дознания.

Эрвейн бы её взял на службу не глядя.

✱

Первые вопросы были простые, и я понял их смысл только к середине.

Как звали её первую собаку. В каком месяце мы въехали в эту квартиру. Что стояло на подоконнике в старой съёмной комнате на Речной. Какой ремонт мы не доделали и почему.

Я отвечал: Дымка. В ноябре, было холодно и не включали отопление. Кактус, который она называла «Борис», и он умер от избытка заботы. Не доделали кладовку, потому что за две недели до конца я взял внеплановую работу.

Мира записывала.

Это были вопросы на общую память, и любой посторонний, изучивший нашу жизнь, мог бы на них ответить, если бы очень постарался. Она это знала. Она разогревала.

Потом пошли вопросы посложнее — на мелочи, которые не хранятся ни в каких документах и не всплывают в разговорах.

Куда мы дели свадебный подарок её тётки. С кем поссорились в две тысячи двенадцатом и из-за чего. Что я сказал в роддоме, когда мне вынесли Лео.

На последнем я запнулся.

— Не помню дословно, — сказал я. — Помню, что сказал глупость. Что-то вроде «а он всегда будет такой красный?».

Мира подняла глаза.

— Дословно: «Он что, всегда будет такого цвета?», — сказала она. — Медсестра тебя чуть не убила.

И записала.

✱

К половине одиннадцатого она перевернула страницу.

— Теперь другое, — сказала Мира. — Теперь то, чего не знает никто, кроме нас двоих. Ни мама моя, ни твои друзья, ни соседи. Восемь вопросов. Отвечай медленно.

Я долго думал, записывать ли их сюда.

Это единственное, что осталось у нас от восьми лет и чего не знает больше никто в двух мирах, — восемь вещей, которые мы не рассказывали ни её матери, ни моим друзьям, ни за столом в компании, где рассказывают всё.

Но я пишу это для сына, а сыну надо знать, из чего был сделан его дом. Поэтому записываю.

— Первый, — сказала Мира. — Что я сказала, когда ты сделал предложение? Не то, что мы всем рассказываем. По правде.

— Ты сказала: «Ты уверен? Подумай ещё неделю», — сказал я. — И я разозлился и ушёл. И вернулся через сорок минут, потому что забыл ключи.

— И?

— И ты открыла дверь и сказала: «Ну вот, теперь я вижу, что уверен».

Мира записала.

— Второй. Наше слово. Для чего оно.

Тут я улыбнулся, первый раз за всё утро.

У нас было слово. Я не буду его приводить — оно нелепое, придуманное на второй год, из тех, что рождаются в полусне и почему-то остаются. Оно обозначало вечер, когда оба свободны, никто никуда не идёт, за окном плохая погода, и от этого хорошо. За восемь лет мы им пользовались, наверное, раз двести, и никому больше не объяснили.

Я сказал слово и сказал, что оно значит.

Мира записала, но нажимала на ручку сильнее.

— Третий. Что было в июне, в первый год, когда ко мне приехала мама.

— Мы поссорились так, что ты уехала к подруге на три дня, — сказал я. — И мы никому не сказали. Даже твоей матери, которая в это время жила у нас. Она уехала в полной уверенности, что у нас всё прекрасно.

— Из-за чего поссорились?

— Из-за денег. Точнее, из-за того, как я о них сказал.

— Дословно?

— Не помню дословно, — сказал я. — Помню, что сказал мерзко и что был не прав, и что три дня ходил и репетировал, что скажу, когда ты вернёшься.

— И что сказал?

— Ничего, — сказал я. — Ты вошла, и я не сказал ни слова, и мы просто поужинали.

Мира перестала записывать.

— Четвёртый, — сказала она. — Про больницу. Про тот год.

Про этот вопрос я скажу только, что он был про самое тяжёлое, что случилось у нас до Лео, и что об этом не знает никто, кроме нас двоих и одного врача, которого мы больше никогда не видели.

Я ответил. Всё: сроки, отделение, что она мне сказала на второй день, что я делал в коридоре.

Мира слушала, глядя в стол.

— Пятый, — сказала она. Голос не изменился, а рука, лежавшая на блокноте, сжалась. — Чего я боюсь. То, что я сказала тебе ночью, на втором году, и просила никогда не вспоминать.

Я ответил и это.

Я не приведу здесь ни слова: она просила никогда не вспоминать, и я не буду вспоминать даже теперь. Скажу лишь, что это был страх, который она носит с детства, что он смешной для постороннего и совершенно не смешной для неё, и что я за восемь лет ни разу не пошутил на эту тему.

Мира отложила ручку.

— Шестой, — сказала она. — Что мы сделали в марте перед твоим исчезновением?

— Мы отдали деньги, отложенные на море, соседке снизу, — сказал я. Ей нужно было на операцию, и она бы не попросила, и мы отнесли сами и сказали, что это от собеса.

— И договорились никому.

— И договорились никому. Даже ей. Особенно ей.

Мира кивнула и ничего не записала.

— Седьмой, — сказала она и встала.

Она отошла к окну, отвернулась и оттуда, спиной ко мне, спросила:

— Как пахнет макушка Лео?

Я закрыл глаза.

— Тёплым хлебом, — сказал я. — Не булкой, не сдобой. Именно хлебом, тёплым, из печи. Я всегда мог найти его по запаху в темноте.

Мира стояла у окна и не оборачивалась.

Плечи у неё были совершенно прямые.

— Восьмой, — сказала она. — Последний. Что я сказала тебе, когда ты уже выходил?

И вот тут я понял, что все семь предыдущих были разбегом.

Я помнил то утро посекундно. Три года в чужом мире я держал его в себе как единственное, что нельзя терять, и повторял вслух женщине с фронта, сидя на мёртвой корке. Кухня. Кофе. Она в моей старой рубашке. Лео, обхвативший шею на секунду дольше, чем я успевал приготовиться. «Купи по дороге хлеб. Чёрный». «А на море скоро?» — «Честно-честно».

А потом, уже у самой двери, за спиной:

— «Люблю тебя», — сказал я. — А я ответил: «И я». Даже не целиком. Через плечо, на бегу, не обернувшись, — потому что впереди было ещё пятьдесят лет, чтобы обернуться.

Тишина.

— Я всё это время жил с этим «и я», — сказал я. — Если тебе от этого легче, оно обошлось мне дороже всего остального.

Мира стояла у окна.

Она не заплакала — она сделала другое: у неё подлומились ноги, и она села прямо там, на пол, у батареи, как садятся, когда стоять уже нечем.

Я не подошёл. Я знал, что подходить нельзя.

Мы просидели так — она на полу у окна, я на своём стуле — минуты три или четыре.

Потом она сказала, не поднимая головы, и это была самая длинная фраза за всё утро:

— Знаешь, чего я боялась больше всего? Не того, что ты самозванец. Самозванца я бы вычислила за десять минут и вызвала полицию, и мне бы даже полегчало. Я боялась, что ты — это ты, и тогда всё, что я делала семь лет, придётся считать заново.

✱

Под конец этой части она задала вопрос, которого я ждал с первой минуты и всё-таки не был готов услышать.

— Ты говорил вчера про какие-то пять правд, — сказала Мира. — Что это?

Я объяснил.

Про то, как в мёртвой земле у меня начали красть память — по кускам, подсовывая похожее. Про то, как женщина с фронта, которую я знал тогда три года, посадила меня на корку и заставила продиктовать ей пять вещей о моём доме, которые я знаю намертво. Про то, что она хранила их до конца дороги и проверяла ими меня каждое утро.

— Назови, — сказала Мира.

Я назвал.

Жёлтое ведёрко с белой ручкой живёт под кроватью Лео, куплено для моря, «скоро, честно-честно». В прихожей жёлтый свет, и он бежит из комнаты и говорит «па-па» по слогам. На кухне две чашки, и штора не задёрнута: окно без шторы — картина, с задёрнутой — стена. Чёрный хлеб я не купил, и это не исправить. Я умер утром вторника, за рулём, в восьми минутах от дома.

Мира слушала, глядя в стол.

Потом встала, вышла в коридор и вернулась минуты через три.

В руках у неё было жёлтое пластмассовое ведёрко с белой ручкой — выгоревшее, с трещиной по краю, с налипшим песком в углу дна.

Она поставила его на стол между нами.

— Оно ездило на море, — сказала Мира. — Ведёрку этому восьмой год пошёл, Лео уже десять, а он его не выбрасывает. Держит на антресолях, я в прошлом году хотела выкинуть — не дал.

Мы посмотрели на ведёрко.

— Знаешь, что самое поганое? — сказала она. — Штору я не задёргивала все семь лет, и это не сентиментальность, я просто так привыкла. И чашек у нас две. И хлеб этот чёртов я до сих пор помню, потому что это была последняя вещь, о которой я тебя попросила. — Она села. — Ты назвал четыре вещи из моей кухни и одну из моей жизни, и ни одну из них нельзя наугадлить.

Дальше был перерыв.

Она сварила кофе — себе и мне, не спросив, помню ли я, сколько сахара, потому что помнила сама. Поставила чашку и села напротив.

— Ладно, — сказала Мира. — Это ты. Дальше.

— Дальше?

— Дальше твой рассказ, — сказала она. — Который я вчера не приняла. Я приняла, что ты — это ты, а не то, что ты был в другом мире. Это разные вещи, Адам, и вторую я по-прежнему считаю бредом.

— Как ты это себе объясняешь? — спросил я.

— Плохо объясняю, — сказала она честно. — У меня три версии, и все дурные. Первая: ты жив, была амнезия, ты семь лет прожил чёрт знает где и придумал себе историю, чтобы не помнить настоящую. Вторая: тебя увезли, держали, что-то с тобой делали, и всё это — последствия. Третья: ты говоришь правду.

— И какая по-твоему?

— Первая, — сказала Мира. — Из милосердия к себе.

Она отпила кофе.

— Но к твоей истории у меня ещё тридцать восемь отдельных вопросов, а ко всем остальным версиям — по сто. Вот это меня и злит.

✱

Вещи она разложила на столе сама.

Латунная бирка, бронзовая бляха, тусклое кольцо. Она рассматривала их долго, по одной, поворачивая к свету.

— Вот это что? — спросила про бирку.

— Клеймо мастерской, номер и год. Год по их счёту. Она с котла машины, которая закрыла собой пролом в стене и убила себя.

— Машина себя убила?

— Мастер, который её строил, говорил о ней как о живой, — сказал я. — Она вытащила из-под удара четырнадцать человек и легла. Это его слова: «умерла в деле».

Мира повернула бирку и нашла оплавленный край.

— Это металл потёк, — сказала она.

— Да.

— Латунь течёт при девятистах градусах, — сказала она. — У меня двоюродный брат сварщик, я знаю, ты не смотри так.

Она положила бирку и взяла бляху.

— А это?

— Знак Гильдии искателей. Первого чекана. Триста лет, их двенадцать штук в архиве, мне отдали одну.

— Почему тебе?

— Потому что я закрыл ремесло, которым они жили триста лет, — сказал я. — И потому что рассказал их совету про мальчика, который ушёл искать славу и не вернулся.

Мира ничего не сказала. Положила бляху рядом с биркой.

Кольцо она взяла последним, подержала на ладони.

— Тяжёлое, — сказала она. — И металл странный. Что это?

— Не знаю.

— Как это «не знаю»?

— Оно не золото и не серебро, — сказал я. — Не гнётся, не звенит, не тускнеет, не греется в руке. Три года его никто не сумел определить, включая тех, у кого это работа.

Мира держала кольцо на раскрытой ладони и смотрела.

— Отнесу в ломбард, — сказала она вдруг.

— Что?

— Не продавать, — сказала она. — На экспертизу. У нас на районе есть скупка, там мужик с прибором, определяет металл за пятьсот рублей. Если он скажет «латунь» — я успокоюсь и вернусь к первой версии. Если скажет «не знаю, что это», — она посмотрела на меня, — тогда мне придётся сесть и думать заново.

Я не нашёл, что возразить.

Мне и в голову не пришло, что чужеземный артефакт можно просто отнести в скупку на районе.

✱

Экспертиза заняла у неё сорок минут, включая дорогу.

Она вернулась, положила кольцо на стол, села и минуты две молчала.

— Ну? — сказал я.

— Он его крутил двадцать минут, — сказала Мира. — Прибор показывал разное. Потом позвал напарника, тот тоже крутил. Потом спросил, откуда вещь. Я сказала — от бабушки.

— И что он сказал?

— Он сказал: «Женщина, у вас тут сплав, которого я не знаю, и это не подделка, потому что подделывать так дорого никто не станет. Если найдёте, где такое делают, скажите мне».

Она положила ладони на стол.

— Вот теперь мне по-настоящему хреново, Адам.

✱

Последний час мы говорили о деле.

Мира открыла блокнот на чистой странице и сказала:

— Хорошо. Допустим, я приняла третью версию. Не поверила — приняла как рабочую. Тогда у меня к тебе вопросы уже не про то, где ты был, а про то, что теперь.

И задала три.

Первый: сколько у меня времени и как это проверить.

Я сказал: восемь месяцев, минус то, что уже прошло. Проверить нечем — это слово ведьмы и старика-архивариуса из другого мира.

— Значит, будем проверять по тебе, — сказала Мира. — Я хочу видеть это своими глазами. Ты будешь мне каждый месяц называть цифру, а я буду смотреть на тебя и записывать, что вижу. Если через три месяца я увижу, что ты сдаёшь, — я поверю. Если не увижу — мы вернёмся к первой версии и пойдём к врачу.

Второй вопрос: что во мне сидит и опасно ли это для сына.

Я ответил честно: не знаю до конца. Знаю, что рядом со мной ничего не портится и никто не заболевает; знаю, что животные меня обходят стороной; знаю, что если я начну этим пользоваться, я умру быстрее, а больше ничего не изменится.

— Тогда не пользуйся, — сказала Мира.

— Не собираюсь.

— Я не прошу, — сказала она. — Я ставлю условие. Первое из тех, что у меня будут. В этом доме ты не делаешь ничего, чего я не понимаю. Совсем ничего. Не потому, что я тебе

не доверяю, а потому что здесь ребёнок, и я обязана понимать всё, что происходит в комнате, где он спит.

— Согласен.

— Хорошо.

Третий вопрос она задала не сразу.

— Что мне с этим делать? — спросила она. — Не с тобой. С этим всем. Я не могу пойти к подруге и сказать: у меня муж вернулся из мёртвых с другой женщиной и умрёт к весне. Меня положат в больницу, и правильно сделают. Я осталась с этим одна, Адам, и вот это самое тяжёлое.

Я сказал единственное, что мог сказать:

— Скажи мне. Всё, что не можешь никому. Я всё равно уже виноват во всём, что происходит, — на мне это ничего не ухудшит.

Мира посмотрела на меня долгим взглядом.

— Ну ты и мразь, — сказала она без всякой злости. — Так удобно устроился: во всём виноват, значит, всё можно на тебя сваливать.

— Да.

— Ладно, — сказала она. — Приму к сведению.

И записала что-то в блокнот.

✱

Разговор кончился в час дня, когда Кассия вернулась с прогулки — мокрая, спокойная, обошедшая, судя по всему, полрайона.

Мира закрыла блокнот и сказала:

— Так. Теперь она. Ты переводишь, но говорим мы с ней, а не ты со мной через неё. Ясно?

— Ясно.

✱

Кассия сняла мокрый плащ, повесила его в ванной и вошла на кухню. Увидела вещи на столе, блокнот, три стула — и поняла, зачем её ждали.

Села напротив Миры. Я оказался сбоку, между ними, но уже после первого вопроса Мира передвинула мой стул.

— Не заслоняй, — сказала она. — Мне надо видеть её, когда она отвечает.

Я подвинулся.

— И переводи от первого лица, — добавила Мира. — Не «она спрашивает» и не «она сказала». Просто говори её слова. И мои — так же.

— Зачем?

— Чтобы ты не оказался главным в разговоре, который не про тебя.

Я перевёл это Кассии.

Она посмотрела на Миру и сказала:

— Правильно.

Так и начали.

✱

— Кто ты ему? — спросила Мира.

Я перевёл.

Кассия не отвела глаз.

— Я не знаю, какое у вас для этого слово. Он был человеком, рядом с которым я жила три года. Потом человеком, с которым пошла в мёртвую землю. Потом — тем, кого я обещала довести до двери.

Я перевёл дословно.

— Это не ответ, — сказала Мира.

— Другого у меня нет. В моём мире он был моим домом. В вашем мире его дом — здесь.

На последней фразе я запнулся.

Мира это заметила.

— Переводи, — сказала она.

Я перевёл.

— Ты его любишь? — спросила Мира.

— Да.

Обе посмотрели на меня, потому что это короткое слово прозвучало моим голосом. Я впервые понял, почему Мира велела говорить от первого лица: спрятаться за «она сказала» не получалось ни у одной из них. И у меня тоже.

— Он тебя любит?

Кассия помолчала.

— Это спрашивай у него. Я не стану отвечать за другого человека, даже если знаю ответ.

Мира коротко кивнула.

— Зачем ты пошла с ним сюда?

— Чтобы он дошёл.

— Он уже дошёл.

— Теперь знаю.

— А дальше?

— Дальше решать не мне одной.

— Чего ты ждёшь от него?

— Ничего, чего он мне не обещал.

— А что он обещал?

— Что откроет дверь. Что не уйдёт один. Что, когда мы войдём, он не станет решать за тех, кто окажется по эту сторону.

Мира посмотрела на меня.

Я пожал плечами. Всё это я действительно обещал — разными словами, в разные дни. Просто ни разу не складывал обещания рядом.

— То есть ты пришла посмотреть, как он вернётся к жене? — спросила она.

— Я пришла увидеть, что он вернулся домой. Это не одно и то же.

— Для меня пока одно.

— Понимаю.

✱

Следующий вопрос Мира задала после долгой паузы.

— Если я скажу, что после зимы ты должна уйти, ты уйдёшь?

— Если скажешь мне — да.

— А если он попросит остаться?

— Тогда вы трое будете говорить снова. Но я не стану ждать, пока он выберет одну из нас, как выбирают дорогу на развилке. Я не дорога. И ты не дорога.

Я перевёл и почувствовал, что сказал это слишком быстро.

— Ещё раз, — попросила Мира.

Я повторил медленнее.

Она выслушала и спросила:

— А если я не прикажу уйти, а просто сделаю так, что тебе самой станет невозможно здесь жить?

Кассия чуть наклонила голову.

— Тогда я уйду. Но сначала скажу тебе в лицо, что ты сделала. И ты будешь знать: это был твой выбор, не мой и не его.

Мира смотрела на неё несколько секунд.

— Хорошо, — сказала она. — С этим понятно.

И впервые что-то записала.

✱

Потом заговорили про Лео.

Голос у Миры не изменился, но блокнот она закрыла.

— Что ты хочешь от моего сына?

Кассия ответила сразу:

— Ничего.

— Совсем?

— Ребёнок ничего мне не должен за то, что его отец привёл меня в его дом.

— Ты будешь его учить? Командовать им? Рассказывать, как ему относиться к отцу?

— Нет. Если попросит показать полезное — покажу. Если ты запретишь — не стану.

Приказывать ему будешь ты.

— А Адам?

— Это вы с ним решите. Я не знаю, каким отцом он будет здесь. Там детей у него не было.

Мира почти улыбнулась — не потому, что было смешно, а потому, что ответ оказался точнее ожидаемого.

— Он тебя не боится, — сказала она.

— Пока не знает, чего во мне бояться.

— А есть чего?

— Есть, — сказала Кассия. — Как в любом взрослом человеке. Но мальчика я не обижу.

И не позволю обидеть при мне.

— Даже мне?

— Особенно тебе. Своих чаще всего ранят те, кто уверен, что имеет право.

Я перевёл и приготовился к тому, что сейчас разговор закончится.

Мира вместо этого спросила:

— У тебя были дети?

— Нет.

— Ты их хотела?

Кассия медленно положила ладони на стол.

— Этот вопрос не помогает тебе решить, безопасно ли оставлять меня рядом с твоим сыном.

Я перевёл.

Мира подождала и кивнула.

— Справедливо. Снимаю вопрос.

Это был первый раз за день, когда она отступила без следующего вопроса.

✱

— Теперь спрашивай ты, — сказала Мира.

Кассия явно не ожидала.

— Что?

— Ты пришла в чужой дом без языка, денег и бумаг. Наверное, у тебя тоже есть вопросы к женщине, которая решает, можешь ли ты спать на её диване.

Кассия подумала.

— Ты хочешь, чтобы я ушла?

— Сегодня — нет.

— Ты хочешь, чтобы я осталась?

— Сегодня — тоже нет. Я хочу, чтобы до весны никто не принимал решение, которое нельзя отменить.

— Почему ты впустила меня?

Мира посмотрела на стол, на ведёрко, на чужие вещи, потом снова на Кассию.

— Потому что ты сидела под дождём и не стучала в дверь. Потому что вошла только после приглашения. Потому что у меня сын, и я не хочу, чтобы он видел, как его мать выставляет человека на улицу за то, что тот оказался рядом с его отцом. И потому что я пока не знаю, кто ты. Выгонять человека до того, как узнала, — такой же способ решить за него, как оставить навсегда.

Кассия выслушала перевод.

— Хороший ответ, — сказала она.

— У меня ещё условие, — сказала Мира. — Если вопрос касается Адама, не заставляй меня узнавать ответ по его лицу. Говори мне. Если касается тебя — тоже. Если касается Лео — сразу.

— Тогда и моё условие. Не используй меня, чтобы причинить боль ему. Если злишься на него — говори с ним. Не проси меня передавать и не говори при мне то, что должна сказать ему.

— Согласна.

— И ещё. Не благодари меня за то, что я довела его. Я делала это не для тебя.

— А ты не благодари меня за крышу, — сказала Мира. — Я пустила тебя не ради тебя.

Кассия впервые улыбнулась.

— Вот теперь, — сказала она, — я тебе верю.

❖❖

Разговор закончился ближе к трём.

Под конец они уже выдерживали паузу сами: одна говорила, другая ждала, пока мой голос закончит перевод, и отвечала, глядя не на меня. За два часа я произнёс обеими языками больше слов, чем за весь предыдущий день, и при этом впервые оказался в разговоре совершенно лишним.

Это было правильно.

Мира закрыла блокнот. Кассия взяла свой ещё влажный плащ и ушла развешивать его на балконе.

— И, Адам. — Она остановилась в дверях кухни. — Сегодня ночью я, наверное, буду плакать. Не пугайся и не лезь. Это не про тебя, это накопилось.

Она вышла.

Я остался сидеть за столом, на котором лежали три вещи из другого мира, блокнот с тридцатью одним вопросом и стакан недопитой воды.

Под рёбрами шёл ровный чужой ход. Одиннадцать тиков.

Первый месяц только начал таять, и мне казалось, что впереди много времени.

Глава 6. День, когда я его потеряла

Она рассказала это в феврале, за одну ночь, когда наконец решилась.

Дальше — её слова, и я не меняю в них ничего.

✱

Ты хочешь знать, как это было.

Хорошо. Расскажу один раз, и больше меня об этом не спрашивай — ни ты, ни Лео, никто. Один раз, и всё.

Утро было обычное. Я тебя не провожала в окно, я вообще никогда не смотрела, как ты уезжаешь. Я закрыла дверь, вернулась на кухню и стала собирать Лео в сад. Он капризничал из-за колготок. Я помню колготки, представляешь? Синие, с оленями, он их ненавидел.

Позвонили в двадцать минут одиннадцатого.

Мужской голос, вежливый. Спросил, я ли Мирослава такая-то, супруга такого-то. Я сказала — я. Он сказал: с вашим мужем произошло дорожно-транспортное происшествие, вам нужно подъехать.

Я спросила: он жив?

И он замолчал.

Понимаешь, они не говорят по телефону. Им нельзя. Он молчал секунды две, а мне этих двух секунд хватило, чтобы понять всё, и я — я это очень хорошо помню — я в этот момент смотрела на синие колготки с оленями, которые держала в руке.

Я сказала: спасибо, я поняла, куда ехать.

Он сказал адрес.

✱

Дальше я всё делала правильно.

Меня потом много раз спрашивали, как я справлялась, и все ждали, что я скажу — не помню, была как в тумане. Нет. Я всё помню и всё делала правильно, и это, наверное, самое мерзкое.

Я позвонила маме и сказала: приезжай, посиди с Лео, папа попал в аварию. Не «погиб» — «попал в аварию»: я не хотела говорить это слово вслух, пока не увижу.

Я одела Лео и отвела к соседке, пока мама ехала. Я его поцеловала и сказала: я скоро.

Я взяла паспорт, потому что знала, что понадобится паспорт.

Я вызвала такси.

Я даже помню, что дала таксисту пятьсот и не взяла сдачу, а он спросил, всё ли у меня в порядке.

✱

Приехала я туда через час.

Там уже стояли машины, оцепление, люди в форме. Дождя не было — было солнце, представляешь, март, солнце, лужи, всё блестит.

Я вышла из такси и увидела столб.

Он был чёрный. Не грязный — обугленный, метра на три вверх, и рядом с ним стояло то, что осталось от машины.

Я знаю, ты сейчас думаешь: она увидела и упала. Нет. Я подошла ближе и стала смотреть.

Я смотрела и думала совершенно ясно: это не наша машина. У нас другая. Наша серая, а эта чёрная, и она меньше. И только потом до меня дошло, что она чёрная, потому что сгорела, и меньше — потому что её смяло.

Ко мне подошёл человек и спросил, кто я. Я сказала. Он взял меня под локоть и стал говорить какие-то слова, и слов я не помню, а помню, что от него пахло сигаретами и что он держал меня очень крепко, будто ждал, что я побегу.

Я не побежала.

Я спросила у него ровно одну вещь. Я спросила: где он?

✱

Вот тут всё и началось.

Он ответил не сразу. Отвёл глаза. Потом сказал, что при таком возгорании, к сожалению, бывает так, что... и дальше — про температуру, про то, что бак, про то, что горело долго, потому что вызвали не сразу, дорога пустая.

Я спросила ещё раз: где он.

Он сказал: тела нет, женщина. Опознавать нечего.

Я спросила в третий раз, и вот тогда он разозлился — не на меня, а вообще, — и сказал резко: «Там всё выгорело дотла. Смотреть не на что. Вам не надо туда смотреть».

И я сказала: покажите.

Знаешь, что он мне ответил? Он сказал: «Я не имею права. И я вам не советую».

Я стояла на обочине и смотрела на чёрный столб, на сгоревшую машину, на людей, которые ходили вокруг и что-то делали, и первый раз в жизни поняла, что такое — когда тебе не верят на слово и при этом требуют, чтобы ты поверила на слово.

✱

Дальше был кабинет.

В кабинете мне сказали то же самое, только вежливее и с бумагами. Что установлено: машина такого-то, документы такого-то, часы такого-то — часы, представляешь, часы уцелели, они были в бардачке, ты их снимал, когда за руль садился.

Что личность установлена по совокупности. Что признаки биологического материала обнаружены, но идентификации не подлежат.

Вот эта формулировка. «Признаки биологического материала».

Я эту фразу знаю наизусть до сих пор, я её потом видела в четырёх разных документах.

Я спросила: то есть вы не знаете, был он в машине или нет.

Мне сказали: женщина, а где ему ещё быть?

✱

И вот тут я тебе скажу главное, ради чего вообще этот разговор.

Я тогда не поверила.

Не «не смогла принять», не «отказывалась верить» — это всё слова из журналов. Я именно что не поверила, головой, как не веришь плохому отчёту.

Потому что не бывает так, чтобы человек сгорел целиком. Я потом читала, я узнавала — да, бывает, если долго и если условия. Но мне тогда никто ничего не показал и не объяснил, а сказали «поверьте на слово». А я на слово не верю никому, ты знаешь.

Так что я вышла из того кабинета, села на лавку в коридоре и подумала: значит, надо искать.

Он же мог выйти. Мог выйти и уйти в шоке, такое бывает. Мог его кто-то забрать. Могло быть что угодно, потому что тела нет, а без тела ничего не доказано.

Я сидела на лавке в коридоре и была почти спокойна.

Я тогда думала, что мне очень повезло.

✱

Год я потратила на это.

Я не буду тебе рассказывать подробно, потому что вспоминать противно. Скажу кратко.

Я подавала заявления. Я ходила в розыск и требовала, чтобы завели дело о неизвестном исчезновении, а мне говорили: у нас ДТП со смертельным исходом, какое исчезновение. Я писала жалобы. Я нанимала юриста и потратила на него деньги, отложенные на ремонт.

Я обзвонила больницы. Все, в городе и в области. У меня был список, я его вела в тетради, я вычёркивала и звонила снова через месяц, потому что вдруг поступил неопознанный.

Я ездила смотреть на неопознанных. Дважды.

Про это я тебе не буду рассказывать вообще ничего, кроме того, что я это делала и что оба раза это был не ты.

Я развесила объявления. Как про кошку. С твоей фотографией и телефоном.

Мне звонили. В основном — мошенники: «ваш муж у нас, переведите деньги». Один раз позвонила женщина и сказала, что видела тебя в электричке. Я поехала на эту электричку и три дня ездила туда-сюда в те же часы.

Мама говорила: остановись. Подруги говорили: тебе надо отпустить. Одна сказала: ты не даёшь ему уйти.

Я всем отвечала одно: покажите мне тело, и я остановлюсь.

Никто не показал.

✱

Хоронили в мае.

Свидетельство мне выдали раньше, чем я была готова: личность считалась установленной — машина, документы, часы, найденные следы, — и по бумагам вопрос был закрыт ещё весной. Я тянула с похоронами сколько могла, но без свидетельства нельзя было закрыть счета и оформить пенсию на Лео.

В гробу лежал твой костюм. Синий, который ты надевал два раза. Часы. Рубашка. Твоя мать положила фотографию, а я не хотела, но не стала спорить.

Он был закрытый, и все понимали почему, и никто не спросил.

Я стояла и думала одну мысль, и мне до сих пор за неё стыдно: мы сейчас закопаем в землю пустой ящик с твоим костюмом, и все будут думать, что это ты.

Лео было три года. Он стоял со мной и держал меня за палец. Он не понимал ничего, он спросил только, почему все плачут, и я сказала — потому что грустно.

Он потом ещё год спрашивал, когда ты придёшь.

Я говорила: не придёт.

Он спрашивал: почему?

Я говорила: потому что он умер.

Он спрашивал: а что такое умер?

И я каждый раз объясняла заново, и каждый раз он потом опять спрашивал, когда ты придёшь.

✱

Знаешь, когда я перестала?

Не в тот день и не в тот год. Я перестала на четвёртый.

Ничего не случилось. Никакого знака, никакого «отпустила». Я просто однажды осенью пошла в магазин и поймала себя на том, что не смотрю по сторонам.

Понимаешь? Три года я ходила по улице и смотрела. Всегда. В любой толпе, в любом автобусе, в любом окне кафе. Не думая, автоматически: а вдруг.

И вот я иду в магазин и понимаю, что не смотрю. И что не смотрю уже, наверное, недели две.

Я дошла до магазина, купила что надо, вернулась домой, разобрала пакеты — и только тогда села на кухне и заревела, впервые за три года по-настоящему, потому что до меня наконец дошло, что я тебя похоронила. Не в мае, на кладбище, с людьми и цветами. А вот сейчас, одна, в четверг, между молоком и стиральным порошком.

Вот тогда я тебя и потеряла, Адам. Не в марте. В четверг, на четвёртый год.

✱

Теперь про тот вечер.

Ты стоял на площадке и снимал сапоги, и я поняла, что это ты, — я тебе говорила, по сапогам. И через полсекунды я подумала не «он жив», не «господи, счастье».

Я подумала: значит, я была права.

Вот такая я, оказывается, женщина. Мне вернули мужа с того света, а я в первую секунду обрадовалась, что не сошла с ума.

А потом ты сказал: «Опознавать было нечего. Со мной ушло всё, что на мне было».

И вот тут мне стало по-настоящему плохо, и ты это видел, и правильно, что не полез.

Потому что мне годами говорили: женщина, ну а где ему ещё быть. Мама говорила: ты не даёшь ему уйти. Юрист говорил: с точки зрения права вопрос закрыт. Одна баба на форуме написала мне: смиритесь, у меня то же самое.

И все они были правы, а я была не права.

А в тот вечер выяснилось, что права была я. Одна. Против всех, кто мне сочувствовал.

Знаешь, сколько это стоило? Год заявлений, три года на улице с оглядкой, два морга, электричка, объявления с твоей фотографией на столбах, соседки, которые переходили на другую сторону, чтобы не разговаривать с сумасшедшей.

И всё это, оказывается, было по делу.

Я не знаю, что мне теперь с этим делать. Мне бы полагалось торжествовать. А у меня одна мысль в голове, и она такая: если бы я тогда не остановилась и искала дальше — я бы всё равно тебя не нашла, потому что тебя не было на этой планете.

Значит, я потратила четыре года не зря и зря одновременно.

Вот с этим я теперь и живу.

✱

Последнее.

Ты спросил меня тогда, чего я боюсь. Я тебе не ответила, а сейчас отвечу, потому что один раз — так один раз.

Я не боюсь, что ты уйдёшь к ней. Я не боюсь, что ты меня разлюбил, — я вижу, что нет. Я даже оставшегося тебе срока боюсь как-то отдельно, спокойно, по-хозяйски: буду считать, буду смотреть.

Я боюсь одного.

Что однажды ты снова выйдешь за дверь — и всё повторится. Опять машина, опять столб, опять «признаки биологического материала», опять пустой ящик.

И вот тогда я уже не выдержу.

Не потому, что слабая. Потому что второй раз в это никто не поверит, включая меня саму, и я останусь одна с двумя пустыми могилами и ребёнком, который скажет: мам, а ты уверена, что он вообще был?

Поэтому у меня к тебе одна просьба, Адам, и я её больше повторять не буду.

Если однажды тебе придётся уходить — не уходи молча.

Скажи мне. Дай мне попрощаться нормально, у двери, глядя в лицо. Мне не надо героизма и не надо, чтобы ты меня берёг.

Мне надо, чтобы в этот раз я знала.

✱

Тут она остановилась и сказала: «Всё. Я спать».

А я остался на кухне до утра.

Просьбу её я запомнил дословно и повторил про себя, наверное, раз двадцать.

Тогда мне казалось, что этого достаточно.

Глава 7. Мёртвый по бумагам

Юриста нашли через знакомую с работы: женщина лет пятидесяти, кабинет в цокольном этаже, вывеска «Юридические услуги. Наследство, семейное, ДТП».

Мира записала нас на пятницу и всю дорогу инструктировала:

— Про другой мир — ни слова. Ни намёка. Ты семь лет не помнил, кто ты, жил чёрт знает где, недавно вспомнил и вернулся. Всё.

— Это ложь.

— Это версия, — сказала Мира. — Правду в этом кабинете не примут, а версию примут и начнут работать. Ты хочешь быть честным или хочешь получить паспорт?

Я хотел получить паспорт.

✱

Юрист выслушала нас за двадцать минут, ни разу не удивившись, и это меня поразило больше всего.

Потом сказала:

— Понятно. Случай редкий, но не уникальный. У меня такое было дважды. Один — с Севера, восемь лет, всё то же самое. Второй хуже: женщину признали умершей при живой матери, которая её и хоронила.

Она подтянула к себе лист.

— Значит, так. Для государства вы умерли, — сказала она. — Это не фигура речи. Старый паспорт и права недействительны, полис закрыт, доступа к счетам и к официальной работе нет. ИНН и трудовая история в базах остались, но воспользоваться ими вы пока не сможете. И брак ваш прекращён смертью: жена ваша по документам вдова.

Мира на этом слове не шевельнулась.

— Дальше, — сказала она.

— Дальше суд, — сказала юрист. — Нужно доказать, что запись о вашей смерти ошибочна, и добиться её аннулирования. Сам загс такую запись не уберёт: ему потребуется вступившее в силу решение суда. Заявление подготовим от вашего имени, а от вас, — она посмотрела на Миру, — понадобятся документы по ДТП и свидетельские показания.

— Сколько это?

— Три месяца, если гладко, — сказала юрист. — Полгода, если нет. Год, если начнут проверять личность.

— А начнут?

— Обязательно, — сказала она. — Женщина, посмотрите на него. Мужчина без единого документа, семь лет числился умершим, вернулся ниоткуда, ничего не помнит. Первое, что подумает любой нормальный человек в погонах: он что-то скрывает. Второе: скрывается ли он от нас или от кого-то ещё.

✱

Дальше был список, и я его записал слово в слово, потому что списки — единственное, чем я умею отвечать на такие кабинеты.

Что нужно для суда.

Заявление. Копия свидетельства и актовой записи о смерти. Материалы ДТП. Доказательства того, что гражданин жив: справка о фактическом проживании, свидетельские показания, заключение генетической экспертизы.

— Идентификация — это генетика, — сказала юрист. — Сравнение с родственниками по прямой линии. У вас есть кто?

— Сын, — сказала Мира. — Десять лет. И его мать, ей семьдесят девять.

— С матерью проще всего. Возьмут у неё, возьмут у него — и если совпадёт, всё остальное станет формальностью.

Я сидел и слушал, как решается вопрос о моём существовании.

Ирония была в том, что за три года в чужом мире я привык доказывать, что я — это я, каждый вечер, глядя в глаза женщине с фронта. Проверка занимала три секунды и стоила ноль рублей.

Здесь на это уходило три месяца, генетическая экспертиза и госпошлина.

— Ещё, — сказала юрист. — Пенсию по потере кормильца после аннулирования записи о смерти выплачивать перестанут. За полученное раньше вам, скорее всего, ничего не будет: добросовестно полученные выплаты обычно не взыскивают, если не было обмана. Но подготовьтесь к тому, что вопрос зададут.

— Готова, — сказала Мира.

— И приятное, раз уж мы всё считаем плохое, — сказала юрист. — Когда запись аннулируют, брак вы сможете восстановить. Не заново расписываться — именно восстановить, совместным заявлением. Если, конечно, оба захотите.

В кабинете стало очень тихо.

— Учтём, — сказала Мира ровно, и юрист, умная женщина, больше к этому не возвращалась.

— И последнее. — Юрист посмотрела на меня поверх очков. — Вы вообще где были эти семь лет?

Я открыл рот.

Мира положила руку мне на предплечье — не сильно, обозначая.

— Он не помнит, — сказала она. — Мы за этим и пришли.

Юрист посмотрела на нас обоих. Потом кивнула и записала: «амнезия, установить круг обстоятельств».

— Хорошо, — сказала она. — Но имейте в виду: судья спросит то же самое. И на суде отвечать будете вы, а не ваша супруга.

✱

По дороге домой мы молчали до самого двора.

— Три месяца, — сказала наконец Мира. — Если гладко.

— Если гладко.

— То есть в лучшем случае ты станешь человеком к февралю.

Она не досказала, но досказывать было не нужно: мы оба посчитали. Февраль — это когда у меня останется чуть больше половины срока. А если год — не останется ничего.

— Слушай, — сказала она, останавливаясь у подъезда. — А смысл?

— В чём?

— В суде, — сказала Мира. — Три месяца, экспертиза, деньги, нервы, вопросы, на которые ты не сможешь ответить. И всё для того, чтобы человек, у которого восемь месяцев, полгода из них потратил на получение паспорта, который ему не нужен.

Я подумал.

— Смысл есть, — сказал я. — Только не в паспорте.

— А в чём?

— В том, что если я умру без документов, то умру никем, — сказал я. — Не будет свидетельства о смерти, не будет наследства, не будет никаких прав у вас с Лео. Будет труп неизвестного мужчины, и ты будешь семь лет доказывать, что это я. Второй раз.

Мира посмотрела на меня.

— Вот теперь понятно, — сказала она. — Пошли, холодно.

✱

Про Кассию я спросил юриста отдельно, уже в дверях.

— Допустим, есть человек без документов вообще, — сказал я. — Не потерянных. Никогда не существовавших.

Юрист посмотрела на меня внимательнее, чем за весь предыдущий час.

— Иностранка?

— Считайте, что да.

— Из какой страны?

— Это сложно объяснить.

— Тогда объясняю я, — сказала она. — Если человек не может подтвердить гражданство ни одной страны и не может документально подтвердить, откуда он, — это лицо без гражданства. Процедура есть, она длинная и с непредсказуемым исходом. Но начинается всегда одинаково: человек идёт и заявляет о себе властям.

— А если не идти?

— Тогда его нет, — сказала юрист. — До первой проверки документов на улице.

Я поблагодарил и вышел.

Про этот разговор я Кассии рассказал в тот же вечер, целиком, потому что мы условились не прятать друг от друга ни одной цифры.

Она выслушала.

— Значит, я — то же, что ты, — сказала она. — Только у тебя есть сын и жена, чтобы доказать, что ты был. А у меня в этом мире доказать меня некому.

— Есть кому. Я.

— Ты мёртвый по бумагам, герой, — сказала Кассия. — Пока ты доказываешь себя — за меня ты не поручишься.

Настоящая проблема была не в суде.

Настоящая проблема была в том, что делать эти месяцы.

Я не мог работать. Не мог устроиться даже грузчиком: везде нужен паспорт. Не мог получить деньги за то, чем зарабатывал всю жизнь, — консультации по учёту и налогам никто не оплатит человеку без документов и без счёта.

Я мог сидеть дома на её деньги. Всё.

К пятому дню это стало невыносимо настолько, что я всерьёз обдумывал варианты, о которых стыдно писать: продать что-нибудь из вещей другого мира; найти способ обналичить сбережения, которых у меня в этом мире не было; уговорить кого-нибудь из бывших коллег устроить меня чёрным консультантом «в тень».

Спасла меня Кассия, и способом, которого я не ожидал.

— Ты бесишься, — сказала она мне на шестой день, вечером, когда мы вдвоём мыли посуду. — Уже неделю. Ты стал разговаривать короче, чем в мёртвой земле.

— Я ничего не делаю, — сказал я. — Я живу за её счёт и ничего не делаю.

Кассия вытерла руки.

— В Грейфолле ты был граф, — сказала она. — А здесь ты никто и не можешь ничего. Так вот, герой: я здесь тоже никто и тоже ничего не могу. И ничего, живу.

Я промолчал.

— Хочешь совет фронта? — сказала она. — У нас, когда человек приходит на заставу без ничего, ему не дают жалеть себя. Ему дают работу, которую можно делать голыми руками. Дрова, вода, стена, дети. Не потому, что нужны дрова. Потому что человек, который неделю ничего не делает, начинает делать глупости.

— Что мне тут колоть? Тут нет дров.

— Найди, — сказала Кассия. — Ты, между прочим, считаешь лучше всех, кого я знаю, а в этом доме никто не считает.



Я подумал над этим ночью и утром сел за стол.

Первое, что я сделал, — разобрал их бюджет по-настоящему, не на глазок, как в первый день, а как разбирал чужие компании: по статьям, за два года назад, с помесечной динамикой.

Мира выдала мне доступ к банковскому приложению — со словами «ну попробуй, счётчик» — и через три дня получила отчёт на девять страниц.

Я нашёл ей четыре тысячи двести рублей в месяц.

Три подписки, которыми никто не пользовался два года. Страховка на квартиру, дублирующая ту, что входит в квартплату. Тариф связи, который был выгоден в две тысячи двадцать первом и стал грабительским в двадцать четвёртом. Переплата по кредитке из-за неверного порядка гашения.

Мира читала отчёт вечером на кухне, и я видел по лицу, что она злится.

— Ты понимаешь, что это стыдно? — сказала она наконец.

— Что стыдно?

— Что я семь лет тащила эту семью одна и не заметила, что у меня утекает четыре двести в месяц, — сказала она. — Это почти триста пятьдесят тысяч за семь лет, Адам. Это Лео на море три раза.

— Ты тащила семью одна, — сказал я. — У людей, которые тащат в одиночку, всегда утекает. Не потому, что они глупые, а потому, что на счёт нет сил. Считать — это отдельная работа, и её кто-то должен делать вместо тебя.

Мира долго молчала.

— Ладно, — сказала она. — Значит, будешь считать.

И это была первая вещь, которую я делал в этом доме не как гость.

✱

Ещё через два дня она принесла с работы папку.

— На, — сказала она. — Только не спрашивай, откуда.

В папке была бухгалтерия небольшой фирмы, где работала её знакомая: три года, полный бардак, вопросы налоговой, аудит, которого все боялись.

— Им нужен человек, который в этом разберётся, — сказала Мира. — Официально нанять тебя нельзя. Неофициально — заплатят наличными и не спросят фамилию. Немного. Тысяч сорок.

Я взял папку.

Я сидел над ней четыре дня, по десять часов, и это были лучшие четыре дня той осени, потому что я наконец делал то, что умею.

Я нашёл им семьсот тысяч необоснованных доначислений и одну ошибку, за которую директора могли посадить.

Мне заплатили пятьдесят.

Я принёс их домой и положил на кухонный стол — наличными, стопкой, как кладут добычу.

— Это первые деньги, которые я заработал здесь после возвращения, — сказал я.

Мира посмотрела на стопку.

Потом сказала:

— Убери. Это твои.

— Мира.

— Убери, я сказала, — повторила она. — Я семь лет прожила без твоих денег и проживу дальше. А тебе нужно, чтобы у тебя было своё. — Она подняла глаза. — Мне не нужен в доме приживал, Адам. Мне нужен человек, у которого в кармане есть его собственные деньги и который может встать и уйти, если захочет. Такому человеку я, может быть, когда-нибудь и поверю.

✱

Заявление в суд мы подали двадцать девятого октября.

Экспертизу назначили на конец ноября. Первое заседание — на середину декабря.

В тот вечер я сидел на кухне и считал, как всегда.

Двадцать девятое октября. Прошло пятнадцать дней. До четырнадцатого июня оставалось семь месяцев и шестнадцать дней, и по этому счёту паспорт я должен был получить где-то в середине пути.

Я не знал тогда, что к середине декабря мне будет уже совершенно не до паспорта.

За окном шёл дождь. В комнате Лео делал уроки, и Кассия сидела рядом и повторяла за ним слова — она к тому времени знала уже около двухсот.

Нить молчала.

До сообщения, которое заставит меня снова вспомнить о Сахаре, оставалось тридцать девять дней.

Глава 8. Первые слова

Языком она занялась ещё на третий день и взялась за него так, как бралась за всё: с расписанием.

Десять слов в день. Утром — новые, вечером — проверка. Записывала она их сама, на обороте старых бумаг: у себя, своими значками, потому что здешние буквы для неё сначала были просто узором.

К концу первой недели я застал её за столом с листом, на котором в столбик стояли крючки, палочки и точки, а напротив каждого — рисунок.

— Что это?

— Мой словарь, — сказала Кассия. — Слева ваше слово, как я его слышу. Справа — что оно значит, если словом не объяснить.

Я посмотрел.

Напротив «хлеб» был нарисован хлеб. Напротив «завтра» — солнце и стрелка. Напротив «нет» — ничего, просто жирная черта.

— А это? — спросил я про рисунок, похожий на человека с поднятой рукой.

— «Здравствуйте», — сказала она. — Меня Лео научил.

✱

С Лео у них вышло не так, как я ожидал.

Я думал, будет обычная история: взрослый учит ребёнка или ребёнок стесняется взрослого. Вышло третье.

Он стал её учителем. Не помощником, не собеседником — именно учителем, всерьёз, с той серьёзностью, на которую способны только десятилетние.

Началось на четвёртый вечер. Кассия сидела на кухне со своим листом и пыталась разобрать надпись на пачке крупы. Лео прошёл мимо, остановился, посмотрел через плечо.

— Это «гречка», — сказал он.

Кассия подняла голову.

— Гре-чка, — повторил Лео громче и медленнее, как говорят с иностранцами все дети мира.

Она повторила. Он поправил ударение. Она повторила ещё раз, правильно.

И тогда он сел рядом.

Через полчаса они разобрали кухню целиком: соль, сахар, чайник, холодильник, окно, вилка, тарелка. Через час Лео принёс из комнаты тетрадь и стал писать ей печатными буквами, крупно, а она перерисовывала рядом своими значками.

Через два часа Мира пришла с работы и обнаружила у себя на кухне школу.

Она постояла в дверях, посмотрела и ничего не сказала.

Только на следующий день выложила на стол две тетради в клетку, ручку и азбуку — старую, Леошину, с картинками, которую хранила зачем-то семь лет.

✱

Метод у Лео был свой, и он оказался лучше любого, который я мог бы предложить.

Он не объяснял грамматику — он её не знал. Он не учил вежливым формулам. Он делал одно: показывал на предмет, называл слово и требовал повторить, пока не получится.

А если Кассия не понимала слова, он его играл.

«Быстро» — пробежал по коридору. «Тихо» — приложил палец к губам и на цыпочках дошёл до двери. «Устал» — упал на стул и уронил голову на руки так натурально, что она засмеялась. «Скучно» — это была целая пантомима на две минуты, после которой даже Мира из коридора не удержалась от улыбки.

Через неделю он завёл правило: за ужином — только по-русски.

— Совсем? — спросил я.

— Совсем, — сказал Лео. — А то она будет с тобой разговаривать, а со мной нет.

Вот тут я понял, что происходит на самом деле.

Он не язык ей ставил. Он забирал её себе.

Всю жизнь мальчик рос рядом с одной взрослой, которой приходилось одновременно тянуть дом, работу и его самого. И вдруг в доме появилась женщина, которая никуда не спешит, ничего от него не хочет, не проверяет уроки и не знает, что он получил тройку по математике, — и которой он единственный в мире может что-то объяснить.

Это была не жалость к иностранке. Это была власть, и она была ему сладка.



Кассия это, разумеется, поняла раньше меня.

— Он мне не помогает, — сказала она мне на второй неделе, когда мы вдвоём выносили мусор. — Он меня приручает.

— Тебе это не нравится?

— Мне это нравится, — сказала Кассия. — Пусть приручает. У него в жизни ни разу не было никого, кто слабее его. Ни собаки, ни младшего брата, никого. А тут появилась взрослая тётка, которая не знает слова «холодильник».

Она поставила ведро.

— Знаешь, что он вчера сделал? Принёс мне свои старые книжки. Те, где картинки и по одному слову на странице. Отдал и сказал: это тебе, я по ним учился. — Она помолчала. — Я в двенадцать лет учила читать шестерых мальчишек на заставе, герой. Я знаю, чего стоит отдать свою первую книжку тому, кто хуже тебя.



Слова у неё шли неровно.

Быстро — всё, что можно потрогать и на что можно показать. Предметы, действия, направления она набирала десятками: к концу третьей недели знала, наверное, слов двести пятьдесят.

Плохо — всё остальное.

Числа взяла за один вечер и была этим страшно довольна: «Считать я умею, мне только названия нужны». Времена глагола игнорировала месяца два и говорила всё в настоящем: «я иду вчера», «ты придёшь я жду».

Совершенно не давались слова, которых в её мире нет.

Я объяснял ей «телефон» три раза, и на третий она сказала: «Поняла. Это когда голос идёт по проволоке. Дальше не объясняй, я не буду это понимать, я буду просто пользоваться». И с тех пор пользовалась.

Отдельная беда была со словами, у которых здесь другое значение.

«Стена» у неё означала укрепление, а не то, что между комнатами. «Вода» — то, что надо добывать. «Ночь» — время, когда выставляют стражу. Она произносила слово правильно, а понимала не то, и это выяснялось случайно, через неделю, в самом неудобном месте разговора.

Хуже всего было со словом «полиция».

— Кто это? — спросила она.

— Люди, которые следят за порядком. Если что-то случилось — воров, драка, беда, — зовут их.

— Стража, — сказала Кассия. — Понятно. Кому подчиняются?

— Государству.

— А в городе кто над ними главный?

Я объяснил, как мог.

Она слушала внимательно, и по лицу было видно, что складывает.

— То есть если я завтра выйду и меня остановят, — сказала она, — они спросят бумаги, а бумаг у меня нет.

— Да.

— И тогда меня заберут в казарму и будут выяснять, кто я.

— Примерно.

— И выяснить не смогут, — сказала Кассия. — Потому что выяснять нечего.

Она помолчала.

— Хорошо, — сказала она. — Значит, слово «полиция» я выучу первым из тех, что нельзя потрогать. И ещё несколько к нему.

Она выучила. «Документы». «Паспорт». «Не понимаю». «Позвоните этому человеку». Последнюю фразу она отработывала при мне, пока не сказала её чисто, и заставила меня записать на бумажке номер Миры печатными цифрами.

С тех пор эту бумажку она всегда носила в кармане.

А одно слово она учить отказалась.

Я объяснял ей «беженец» — оно попало в новостях, и она спросила. Я объяснил: человек, который ушёл из своего места, потому что там стало нельзя жить, и пришёл туда, где его не ждали.

Кассия дослушала и сказала:

— Это не про меня.

— Кассия...

— Я ушла не потому, что стало нельзя, — сказала она. — Мне было где жить, у меня был город, дом и работа. Я выбрала. Это разные вещи, герой, и я не хочу, чтобы ты меня однажды назвал этим словом.

Больше это слово при ней не звучало.

✱

К третьей неделе она начала выходить одна.

Сначала — во двор, потом до магазина, потом дальше. Возвращалась с наблюдениями, которые пересказывала мне вечером, как докладывала о переходе.

О том, что люди здесь не смотрят по сторонам, а смотрят в свои штуки, и это делает их беспомощными: «Я вчера три квартала шла за одним и он ни разу не оглянулся. У нас так ходят только те, кому недолго осталось».

О том, что в магазине еда лежит открыто и её никто не сторожит.

О том, что во дворе есть три места, откуда видно наш подъезд, и что в одном из них по вечерам стоит машина, и она в ней третий раз видит одного и того же человека.

Про машину она сказала между делом, и я насторожился.

Проверили. Оказалось — сосед из четвёртого подъезда, который сидит там по вечерам, чтобы не идти домой; там у него жена, скандалы и, судя по всему, беда.

— Значит, не за нами, — сказала Кассия. — Ладно.

Но проверять она не перестала.

✱

Впервые она заговорила со мной по-русски не заученной, а собственной фразой на двадцать третий день.

Мы шли из магазина, я нёс пакеты, она молчала полдороги, а потом сказала — медленно, с усилием, глядя себе под ноги:

— Я хочу говорить сама. Не через тебя.

Я остановился.

— Я говорю плохо, — продолжала Кассия. — Я знаю. Но я хочу с ней говорить сама. Не всё через тебя.

«С ней» — это было про Миру.

— Понимаю, — сказал я.

— Не понимаешь, — сказала она. — Ты каждый раз переводишь. Ты хороший, ты переводишь честно, я слышу. Но ты стоишь между. Всегда. — Она подняла глаза. — Я не хочу быть женщиной, о которой ты рассказываешь. Я хочу быть женщиной, которая говорит.

Я нёс пакеты и молчал до самого подъезда.

Не потому, что обиделся. Потому что она была права, а я этого не видел три недели — и это при том, что в мёртвой земле мы жили одним правилом: ни одной цифры друг от друга.

Оказывается, я всё это время был у неё единственным каналом связи с миром. Всё, что она хотела сказать, шло через мой рот. Всё, что ей говорили, шло через мои уши.

Человека, который всю жизнь всё решал сам, я на три недели превратил в письмо, которое кто-то другой читает вслух.

✱

Вечером она села к Мира и сказала первую фразу сама.

Я не участвовал — я стоял в коридоре и слушал, потому что уйти не смог.

— Мира, — сказала Кассия. — Я хочу говорить. Плохо. Ты слушай.

Пауза.

— Хорошо, — сказала Мира. — Слушаю.

— Я живу тут. Ем твой хлеб. Сплю тут. Это твой дом. Я знаю.

— Знаешь.

— Я хочу работать, — сказала Кассия. — Не сидеть. Работать. Руки. — Она, наверное, показала. — Я не могу бумаги. Я могу руки.

Долгая пауза.

— Что ты умеешь? — спросила Мира.

Кассия помолчала, подбирая.

— Всё, — сказала она наконец. — Кроме бумаги.

И тут Мира засмеялась.

Первый раз за три недели — коротко, неожиданно для себя самой, и оборвала смех на середине, но он всё-таки был.

— Ладно, — сказала она. — Поищем.

✱

В ту ночь я лежал на своих табуретах и думал, что лучшее из случившегося за три недели произошло без моего участия.

Мальчик, который забирал себе взрослую тётку, чтобы наконец быть в чём-то главным.

Женщина, которая за три недели прошла путь от «спасибо» до «я хочу работать».

Другая женщина, которая засмеялась.

Я лежал и считал их всех, и впервые с возвращения у меня сходилась хоть что-то.

И вот тогда — под утро, между сном и явью — нить дёрнулась в первый раз.

Я почти этого не заметил. Ощущение было такое, будто мышца дрогнула во сне: коротко, слабо, от груди назад и вверх, и сразу перестало.

Я открыл глаза, полежал, прислушался.

Тихо.

Тик, тик, тик — одиннадцать между толчками, как всегда. За стеной кто-то повернулся во сне. Гудел холодильник.

Списал на усталость. У меня три недели не было ни одного спокойного дня, я спал на табуретах и таскал пакеты, — мало ли что дёргается у человека под утро.

Списал и уснул.

Ещё три недели я об этом не вспоминал.

Глава 9. Одиннадцать

Разговор про счёт произошёл третьего ноября — в первую из тех трёх недель, когда я не вспоминал о рывке нити.

Начался он с ерунды.

Мира зашла на кухню поздно, когда все спали, и застала меня за столом с ручкой и листом бумаги: я сидел и в тишине отбивал пальцем по столешнице.

— Ты что делаешь?

— Считаю, — сказал я.

— Что считаешь?

Я мог соврать. Мог сказать: бюджет, проценты, дни до заседания. И сказал бы, наверное, ещё неделю назад.

— Себя, — сказал я. — Садись, я объясню. Это надо объяснить один раз и подробно, иначе потом будет непонятно.

Мира села.

— Только по-человечески, — сказала она. — Без «понимаешь, там такая штука».

— По-человечески и будет, — сказал я. — Здесь всё арифметика.

✱

Я взял чистый лист и расчертил его на три столбца.

— Смотри, — сказал я. — У меня три счёта. Они разные, они не переводятся друг в друга и путать их нельзя. Тебе придётся выучить все три, потому что дальше я буду называть цифры, и ты должна понимать какие.

Я написал в первом столбце: «ДАТА».

— Первый — обычный календарь, — сказал я. — Сегодня третье ноября. Он тебе понятен, тут ничего объяснять не надо.

Написал во втором: «СРОК».

— Второй — сколько мне осталось. Велисса и архивариус установили, как интервал между толчками связан со сроком. Когда я вошёл сюда четырнадцатого октября, по их расчёту оставалось восемь месяцев. Считаю сама.

Мира посчитала мгновенно.

— Четырнадцатое июня, — сказала она.

— Четырнадцатое июня, — согласился я. — Сегодня прошло двадцать дней, значит, остаётся семь месяцев и одиннадцать дней.

Она посмотрела на лист и ничего не сказала.

Я написал в третьем столбце: «ТИКИ».

— А это третий, и он самый неприятный, — сказал я. — Дай руку.

✱

Она дала.

Я приложил её ладонь к своей груди, слева, чуть ниже ключицы, и подержал.

— Слышишь?

Мира сидела с закрытыми глазами, не шевелясь. Через несколько секунд у неё дрогнули пальцы.

— Сердце, — сказала она.

— Это первое, — сказал я. — Оно моё, обычное, ему ничего не сделалось. Слушай дальше и глубже. Считаю про себя, не торопись.

Она сидела с закрытыми глазами, наверное, минуту.

Потом отняла руку.

— Там второе, — сказала она. — Медленное. Очень медленное. Один удар на... — она пошевелила губами, — на одиннадцать твоих.

— Одиннадцать, — сказал я. — Точно.

Мира вытерла ладонь о джинсы — как вытирала Кассия в первый вечер, тем же движением и, наверное, не заметив.

— И что это?

— Это то, что я принёс, — сказал я. — Оно живёт во мне и идёт своим ходом. Я его меряю в тиках: сколько раз стукнет моё сердце между двумя его ударами. Сейчас одиннадцать. Когда я вышел из воронки, было двадцать восемь.

— То есть оно ускоряется само.

— Нет, — сказал я. — Вот это важно, запомни, тут вся суть. Само по себе оно идёт ровно и не разгоняется.

✱

Дальше я объяснил самое главное, и объяснил дважды, потому что хотел, чтобы она поняла точно.

— Я умею одну вещь, — сказал я. — Одну-единственную: брать. Отнять у чего-нибудь то, что делает его живым, и забрать себе. В мёртвой земле я так добывал воду: опускал ладонь в чёрную жижу и вынимал из неё то, что она украла. Оставалась чистая вода.

— Полезно, — сказала Мира.

— Короткое применение обычно стоит месяц и один тик.

Она замолчала.

— То есть за воду ты платил месяцами жизни.

— Считай сама, — сказал я и стал выкладывать по порядку. — Когда я вышел из воронки, было двадцать восемь. Четырнадцать я отдал сам: тринадцать за воду и один впустую, на тракте, над больной девочкой, которой не сумел помочь. Осталось четырнадцать и четырнадцать: четырнадцать месяцев и четырнадцать тиков.

— Так.

— Потом мы три месяца собирались уходить. Я эти три месяца просто прожил, ничего не трогая. Срок сократился до одиннадцати месяцев — а тиков по-прежнему было четырнадцать.

Мира подняла голову.

— Значит, время уменьшает только срок?

— Только срок, — сказал я. — А когда я пользуюсь силой, уменьшается и то и другое.

— Дальше.

— Дальше дверь. Она оказалась тяжелее обычного применения и забрала сразу три месяца и три тика. — Я подвинул к ней лист. — Так и вышло: восемь месяцев и одиннадцать тиков. С этим я к тебе и пришёл.

— А если однажды у тебя не будет целого месяца?

Вот тут я и рассказал ей то, о чём Велисса предупредила меня отдельно.

— Тогда оно всё равно сработает, — сказал я. — Так она мне объяснила: действие завершается в любом случае. Просто оно заберёт всё, что останется, сколько бы там ни было. Хоть неделю. Хоть день. — Я пожал плечами. — А потом считать станет нечего.

Мира записала это в блокнот.

Записала — я помню точно, потому что видел, как она выводит буквы, и подумал ещё: зачем, такое не забывается.

Она записала, и через четыре месяца это спасло нас всех.

✱

— А она это всё знает? — спросила Мира.

— Знает лучше тебя, — сказал я. — Она вела этот счёт за меня три месяца. Каждый месяц объявляла вслух: тринадцать, двенадцать, одиннадцать. Даже когда мне не хотелось слушать. Особенно когда не хотелось.

— Зачем объявляла?

— Чтобы я не тратил дни на «потом».

Мира подумала.

— Разумно, — сказала она, и я услышал в её голосе то, чего не слышал за все три недели: не ревность и не раздражение, а профессиональное уважение одного человека к работе другого.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Теперь вопросы.

Их было три, и они были ровно те, которые задал бы человек, у которого в соседней комнате спит ребёнок.

— Первый. Оно может выйти из тебя само?

— Нет, — сказал я. — Оно вообще ничего не делает само. Оно лежит.

— Ты уверен?

— Я уверен в одном: за эти двадцать дней ничего не изменилось. Ни разу, ни на волос. Я проверяю каждый день.

— Второй, — сказала Мира. — Оно вредит тому, кто рядом?

— Нет. Я проверял всеми способами, какие придумал. Хлеб не портится. Молоко не киснет. Цветок у окна живой. Люди рядом со мной не заболевают и не устают быстрее, я следил.

— А не люди?

Вот здесь я сказал правду, потому что мы условились.

— Животные меня обходят, — сказал я. — Лошадь не подойдёт. Собаки уходят с дороги. Птицы не садятся ближе двадцати шагов. Это не страх — они просто уходят, как уходят с дороги, когда идёт большое.

— А здешние собаки?

— Здешние ведут себя нормально, — сказал я. — Дворняга во дворе меня вообще не замечает. Что это значит, я не знаю. Может, тут другое чутьё. Может, никакого.

Мира долго молчала.

— Третий вопрос, — сказала она. — Ты можешь этим не пользоваться?

— Могу.

— Совсем?

— Совсем, — сказал я. — Я не пользовался ни разу с того дня, как вернулся на Землю. Ни разу, Мира. Даже когда очень хотелось.

— А хотелось?

— Хотелось, — сказал я. — Один раз на тракте, когда женщина держала на руках умирающую девочку. Один раз здесь, в октябре, когда ты не знала, чем платить за школу.

Она вскинула голову.

— Ты мог достать деньги?

— Нет, — сказал я. — Я мог достать себе месяц спокойствия и потерять месяц жизни, а деньги всё равно бы не появились. Оно не умеет давать, Мира. Только брать. Это единственное, за что я ему благодарен: если бы оно умело давать, я бы уже всё раздал.

✱✱

И тогда она задала четвёртый вопрос, которого в списке не было.

— Что будет с нами, когда это кончится?

Я ждал этого вопроса три недели и всё равно не был готов.

— Юридически, — сказал я, — если суд успеет...

— Не юридически, — перебила Мира. — Юридически я разберусь, это моя часть работы. Я спрашиваю про другое. — Она сложила руки на столе. — Смотри. Сегодня третье ноября. Четырнадцатого июня тебя не станет. Между этими двумя днями — семь месяцев, в которых

ты живёшь в моём доме, спишь на моей кухне, ешь мой хлеб и учишь моего сына считать. Мы к тебе привыкнем, Адам. Все трое. Лео уже привыкает, я вижу.

— Знаю.

— Не знаешь, — сказала она. — Ты не знаешь, что такое привыкнуть к человеку второй раз и потерять его второй раз. Я знаю. Я это делала.

Она смотрела мне в лицо.

— И вот я думаю с той самой ночи: правильно ли я делаю, что тебя пустила. Не для тебя — для него. Может, было бы честнее не пускать вовсе, чтобы он не успел.

Я не стал спорить.

Я сидел и слушал, как женщина, которую я семь лет считал главным, ради чего стоит идти, объясняет мне, что моё возвращение может оказаться для нашего сына хуже моей смерти.

— И что ты решила? — спросил я.

— Ничего я не решила, — сказала Мира. — Я не знаю, как правильно. Первый раз в жизни не знаю. — Она встала, отнесла свою кружку в раковину. — Поэтому будем делать, как делаем. Ты живёшь, он привыкает, я смотрю. А в июне посмотрим, была я душой или нет.

— Мира.

— Что?

— Ты не дура, — сказал я. — Я тебе за семь лет ни одного правильного решения не подарил, а ты за три недели приняла четыре.

Она постояла у раковины спиной ко мне.

— Это не решения, — сказала она. — Это привычка тащить.

✱

Уже под конец она спросила ещё одно, между делом, убирая со стола:

— А ты сам-то на что бы его потратил? Последний месяц.

— В каком смысле?

— Ну вот у тебя останется один, — сказала Мира. — И будет случай его отдать. За что-нибудь важное. Ты отдашь?

Я честно подумал.

— Не знаю, — сказал я. — Раньше сказал бы «за вас — за что угодно». А теперь думаю: за вас-то как раз и нельзя. Месяц, отданный за вас, — это месяц, отнятый у вас же.

Мира остановилась с тряпкой в руке.

— Вот это, — сказала она, — первая умная вещь, которую ты сказал за сегодня.

Уходя, она остановилась в дверях.

— Слушай, — сказала Мира. — А если врут?

— Кто?

— Ведьма твоя. И старик. Если они ошиблись? Он же считал по девятнадцати случаям, ты сам сказал. Девятнадцать — это не выборка.

Я подумал.

— Может быть, — сказал я. — Может, восемь месяцев окажутся десятью. Или пятью.

— Или тридцатью.

— Или тридцатью, — согласился я. — Только жить на это нельзя.

— Почему?

— Потому что я уже пробовал так жить, — сказал я. — Три года. Каждый день говорил себе: скоро буду дома. Скоро. И всё, кроме дороги домой, откладывал на потом, потому что «скоро» — это когда-нибудь. — Я посмотрел на лист с тремя столбцами. — А потом мне дали число, и оказалось, что с числом человек живёт совсем иначе. Число нельзя отложить на потом.

Мира стояла в дверях.

— Ладно, — сказала она. — Тогда так. Раз в месяц ты называешь мне цифру. Все три. Вслух, за этим столом, при мне. Я записываю.

— Зачем записываешь?

— Затем, что если ты вдруг начнёшь себя жалеть и округлять в хорошую сторону, у меня будет тетрадь, — сказала Мира.

Я засмеялся.

Первый раз с возвращения — коротко, глупо, неожиданно для себя самого, потому что за тысячу вёрст отсюда, в другом мире, женщина с фронта сказала мне слово в слово то же самое.

— Ты чего? — спросила Мира.

— Ничего, — сказал я. — Просто вы с ней одинаково устроены. И обе считаете меня жуликом.

— А ты жулик, — сказала Мира и ушла спать.

✱✱

Первую запись она сделала в ту же ночь.

Я нашёл эту тетрадь потом. Обычная, в клетку, из тех, что покупают детям к школе. На первой странице, аккуратным почерком:

«3 ноября. Срок: 7 мес. 11 дн. Тики: 11. Выглядит нормально. Ест. Спит плохо. Ходит без одышки. Считает вслух по ночам».

Ниже, с моих слов и слово в слово:

«Если целого месяца не останется — сработает всё равно. Заберёт весь остаток, сколько бы ни было. После этого считать нечего».

И в самом низу страницы, другой ручкой, явно позже:

«Спросить у него: что будет с ней, когда его не станет».

Глава 10. Испытательное соглашение

Идея была её, и родилась она из скандала.

Скандала, впрочем, не было — был короткий разговор на повышенных тонах в понедельник вечером, восьмого ноября, из-за куртки.

Кассия купила Лео куртку.

На свои первые деньги: она к тому времени вторую неделю работала — по вечерам мыла подъезды в двух домах и получала наличными, без бумаг, через женщину, которая держала этот участок. Полторы тысячи в вечер, шесть вечеров в неделю. Она посчитала, отложила и купила.

Куртка была хорошая, тёмная, на размер больше — «чтобы двигаться». Лео надел её и не снимал весь вечер, включая ужин.

Мира посмотрела на это и сказала — ровно, но так, что стало холодно:

— Кассия. Подойди.

И дальше, глядя ей в лицо, медленно, чтобы поняла:

— Спасибо. Куртка хорошая. Больше так не делай.

Кассия не поняла и половины слов, но интонацию поняла целиком.

Я перевёл.

— Почему? — спросила Кассия.

— Потому что в этом доме ребёнку покупаю я, — сказала Мира.

✱

Я в этот разговор не полез и правильно сделал.

Кассия постояла, подумала — и сказала фразу, которую я перевёл дословно, стараясь не смягчать:

— Я поняла. Я не спорю. Но объясни правило заранее, а не после.

Мира открыла рот. И закрыла.

— Что? — спросила она у меня.

Я повторил.

Она села.

— Она права, — сказала Мира. — Чёрт. Она права.

✱

На следующий вечер на кухонном столе лежали три листа бумаги и ручка.

— Так, — сказала Мира. — Садитесь оба. Будем писать правила.

— Какие правила?

— Все, — сказала она. — Мы почти четыре недели живём вчетвером и каждый день натываемся на то, о чём не договорились. Куртка — это ерунда, а завтра будет не ерунда. Значит, надо сесть и написать.

Она посмотрела на меня.

— И имей в виду, Адам. Это не про семью. Слово «семья» мы сегодня не употребляем вообще.

— А что тогда?

— Условия совместного проживания, — сказала Мира. — До весны. Как договорились в первый вечер.

Кассия, поняв половину, кивнула.

— Правильно, — сказала она по-русски. — Так лучше.

✱

Писали три часа.

Я записывал — почерк у меня разборчивее, — Мира диктовала, Кассия слушала перевод и вносила своё, и вносила больше всех.

Один пункт мы переписывали четыре раза, и это был второй, про деньги.

Мира предложила просто: она платит за всё, мы двое живём. Кассия отказалась наотрез.

— Нет, — сказала она. — Я плачу.

— Ты моешь подъезды, — сказала Мира. — Полторы тысячи в вечер. Ты понимаешь, сколько стоит эта квартира в месяц?

— Понимаю, — сказала Кассия. — Я считала. Я не могу платить половину. Я могу платить часть. Пусть маленькую. Но я плачу.

— Зачем?

Кассия подобрала слова — долго, и я не помогал.

— Кто не платит, тот гость, — сказала она. — Гостя терпят. Я не хочу, чтобы меня терпели.

Мира посмотрела на неё и переписала пункт в четвёртый раз.

Получилось четырнадцать пунктов. Я привожу их так, как они остались на бумаге, потому что этот лист провисел на холодильнике до самого конца и мы им реально пользовались.

Срок. Живём вместе до первого марта. Первого марта садимся и решаем заново. До этого дня никто не выходит из соглашения и никого из него не исключают в одностороннем порядке.

Деньги. Общий котёл: еда, коммуналка, школа, транспорт. Складываются все трое, кто сколько может. Остальное — личное, никто не отчитывается.

Лео. Всё, что касается Лео, решает Мира. Покупки, школа, врачи, наказания, поездки. Другие могут предлагать. Решает она.

Про третий пункт скажу отдельно.

Кассия вписала его первой, до всякого обсуждения, и вписала так, что спорить было не с чем. Я тогда посмотрел на Миру и увидел, как у неё дрогнуло лицо: она весь вечер готовилась воевать за этот пункт и приготовила, я думаю, целую речь.

Речь не понадобилась.

Позже я спросил Кассию, почему она это сделала.

— Потому что у ребёнка должен быть один взрослый, чьё слово последнее, — сказала она. — На фронтире это знают все. Когда над мальчишкой двое старших и оба командуют, он не слушается никого и погибает первым.

Работа по дому. График на неделю, на холодильнике. Меняемся. Никто не «помогает» — все делают своё.

Кухня. Ужин в семь. Все, кто дома, сидят за столом. Телефон и книги в это время не берут.

Ссоры. Ссоримся не при Лео. Если началось — выходим на лестницу и заканчиваем там.

Правда. Никто ни от кого ничего не скрывает, если это касается всех. Плохие новости говорим сразу, а не когда «будет подходящий момент».

Счёт. Раз в месяц Адам называет вслух все три цифры. Мира записывает.

Язык. За ужином — по-русски. Если Кассия чего-то не понимает — объясняем, а не переходим на перевод.

Гости. Никого посторонних в квартире без предупреждения. Никаких «просто зашли».

Двери. Комната Лео — его. Стучимся. Он стучится тоже.

Прогулки. Кассия ходит куда хочет и когда хочет. Отчёта не даёт. Но если уходит дальше района — говорит, куда.

Полиция. Если кого-то остановят и спросят документы — не спорим, не убегаем, не объясняем. Звоним Мире.

Никто в этом доме не делает того, чего не понимают остальные.

К восьмому пункту Кассия устно добавила: «Я тоже буду записывать. Отдельно». Так и вышло: до самого конца у меня было две тетради, которые вели два человека, ни разу их не сверив.

✱

Четырнадцатый мы записали последним, и записан он был рукой Миры.

Сформулировала она его для меня — я это знал, и Кассия знала. Он был про то, что лежит у меня под рёбрами.

Но написала она его так, что он относился ко всем.

Я тогда подумал, что это из деликатности. На самом деле Мира просто не хотела писать закон, по которому один человек в доме отвечает перед остальными, а остальные — ни перед кем.

Это я понял гораздо позже.

✱

Когда лист был готов, Мира сказала:

— Подписываем.

— Всерьёз?

— Всерьёз, — сказала она. — Я семь лет работаю с бумагами и знаю: пока не подписано, это разговор. Подписанное — уже документ, и стыдно нарушать.

Расписались все трое. Кассия долго смотрела на строчку, потом вывела своё имя здешними буквами — печатными, крупно, с ошибкой в одной букве. Мира эту ошибку не исправила и не дала исправить мне.

— Пусть, — сказала она. — Так честнее.

И тут из коридора раздался голос:

— А я?

✱

Лео стоял в дверях. Судя по всему, давно.

— Ты спишь, — сказала Мира.

— Не сплю, — сказал Лео. — Вы там законы пишете, а я не в курсе.

Мира посмотрела на меня. Я на неё.

— Иди сюда, — сказала она.

Он подошёл к столу — босиком, в пижаме, — взял лист и стал читать.

Читал он долго, шевеля губами, и мы трое сидели и ждали. Прочёл до конца, положил лист.

— Тут про меня три раза, — сказал он.

— Четыре, — сказала Мира.

— Три, — сказал Лео. — «Лео решает Мира», «ссоримся не при Лео», «комната Лео его». Четвёртый — про ужин, но он про всех.

Он поднял глаза.

— И везде я — то, о чём вы договариваетесь.

Стало тихо.

— Ты хочешь что-то добавить? — спросила Мира.

— Хочу, — сказал Лео.

Он взял ручку — сам, никого не спрашивая, — и внизу листа, под четырнадцатым пунктом, написал печатными буквами:

НЕ ВРАТЬ МНЕ.

Написал, положил ручку и сказал:

— Я маленький, а не дурак. Я вижу, что тут что-то не так. Вы всё время разговариваете, когда я ухожу. Я не спрашиваю, что. Но не врите мне. Врать — это хуже всего.

✱

Мира взяла лист.

Я знал, о чём она думает, и она думала об этом секунд десять — я видел.

Потому что пятнадцатый пункт означал, что рано или поздно ему придётся сказать всё. Про восемь месяцев. Про то, что отец, который вернулся, вернулся ненадолго.

— Хорошо, — сказала она. — Принято. Но с уточнением.

— С каким?

— Мы не будем тебе врать, — сказала Мира. — Мы можем сказать: «Мы тебе пока этого не скажем». Это не враньё, это отказ. Ты имеешь право злиться, но требовать не можешь.

Лео подумал.

— Ладно, — сказал он. — Но чтобы честно. «Не скажем» — а не «всё нормально, иди спать».

— Договорились.

— И ещё, — сказал Лео. — Когда решите сказать — говорите сразу все трое. Не по одному. А то я знаю, как бывает: сначала мама скажет половину, потом ты половину, и я буду складывать.

Кассия, которая слушала перевод, вдруг сказала по-русски — медленно, но чисто:

— Умный мальчик. Хорошее правило.

Лео посмотрел на неё.

— Спасибо за куртку, — сказал он. — Я её больше не надену, если мама против.

— Надевай, — сказала Мира. — Куртка хорошая. Я не против куртки, я против того, что меня не спросили.

Он кивнул — деловито, приняв к сведению, — и пошёл спать.

В дверях обернулся.

— А подписать мне дадите?

Дали.

Он расписался внизу листа — размашисто, взрослой закорючкой, которую явно тренировал заранее, — и ушёл, совершенно довольный собой.

❖

Лист повесили на холодильник.

Он провисел там всю зиму. Мы к нему возвращались чаще, чем я думал: раза три спорили, глядя на пункт седьмой, дважды — на четвёртый, один раз крупно поругались из-за десятого, когда Мира привела домой сотрудницу без предупреждения, и Кассия ей это молча показала пальцем.

Мира тогда извинилась. При всех.

— Это, — сказала мне потом Кассия, — было главное за весь месяц.

— Что именно?

— Что старшая извинилась перед младшей при всех, — сказала она. — Я такое видела дважды в жизни: один раз король перед прачкой, второй раз сейчас. Мира — из тех, кто держит слово, герой. Мы с ней сможем.

❖

Ночью Мира вышла на кухню и остановилась у холодильника, глядя на лист.

— Слушай, — сказала она. — А ведь мы написали устав.

— Ну да.

— Нет, ты не понял, — сказала она. — Мы написали устав, как в организации. Пятнадцать пунктов, ответственные, порядок разрешения споров. Я такие штуки составляю на работе для отделов. — Она усмехнулась. — Я, значит, из своей семьи сделала отдел.

— Ты за месяц собрала работающий дом из вдовы, покойника, чужестранки без языка и десятилетнего мальчика, — сказал я. — Без опыта и без образца.

Мира долго смотрела на лист.

— Знаешь, чего тут нет? — сказала она.

— Чего?

— Тут нет ни слова про чувства, — сказала она. — Пятнадцать пунктов, и все про порядок. Ни «уважаем друг друга», ни «стараясь понять». Ни одного красивого слова.

— И слава богу.

— И слава богу, — согласилась Мира. — Потому что красивые слова я бы не выполнила. Она погасила верхний свет, оставив гореть маленький над плитой.

— Спокойной ночи, счётчик, — сказала она.

Это было первое ласковое слово, которое я услышал от неё за двадцать шесть дней.

Оно было обидное. Я был совершенно счастлив.

Глава 11. Мальчик

Он подошёл сам, в воскресенье, четырнадцатого ноября — ровно через месяц после того, как я позвонил в дверь.

Я сидел на кухне с бумагами. Он встал в дверях с тетрадью в руках, помолчал и сказал:

— Мама разрешила.

— Что разрешила?

— Поговорить, — сказал Лео. — Я спросил, можно ли, и она сказала — можно, когда захочешь. Я захотел.

Он положил тетрадь на стол и сел напротив. Сел не как садится ребёнок, а как садятся на переговоры: прямо, руки на столе, тетрадь перед собой.

— У меня вопросы, — сказал он. — Я их записал, чтобы не забыть.

✱

Вопросов было девятнадцать.

Я это знаю точно, потому что он их пронумеровал.

Первую половину я приведу подряд — они шли быстро, он спрашивал, я отвечал, он ставил галочку и переходил к следующему. Он вёл этот разговор лучше, чем половина людей, с которыми я вёл переговоры в прошлой жизни.

— Первый. Ты правда мой папа?

— Правда.

— Второй. Ты правда умер?

— У меня остановилось сердце в машине. Меня признали умершим. Тела не нашли, потому что там был пожар.

— Третий. А потом?

— А потом я очнулся в другом месте. Далеко. Оттуда нельзя было позвонить или написать.

— Четвёртый. Это как — в другом месте?

Я подумал, как объяснить.

— Знаешь, что такое другая страна? — сказал я. — Вот другая страна, только гораздо дальше. Настолько, что туда не летают самолёты. Совсем.

Лео посмотрел на меня.

— Ты про другую планету? — спросил он. — Или про параллельный мир?

Я моргнул.

— Второе.

— Ага, — сказал он и поставил галочку. — Понятно. Пятый вопрос: там магия?

✱

Вот здесь я понял, что зря готовился.

Я месяц продумывал, как объяснить десятилетнему ребёнку невозможное. Я собирался говорить осторожно, аллегориями, следить за реакцией.

Мальчик, выросший на мультиках, книжках и играх, принял идею другого мира за восемь секунд и сразу перешёл к устройству.

Ему было интереснее, как оно работает.

— Магия есть, — сказал я. — Только не такая, как в книжках. Она не «вжух». Она как... — я поискал сравнение и взял то, что он знал, — как электричество. Есть источник, есть провода, есть счётчик. И если ты берёшь много — платишь много.

— А ты умел?

— Умел одну вещь. Не самую красивую.

— Какую?

— Забирать, — сказал я. — У меня получалось отнимать. Не давать, не лечить, не строить. Только отнимать.

Лео подумал.

— Это плохая суперсила, — сказал он серьёзно.

— Очень плохая, — согласился я.

— Шестой вопрос, — сказал он, заглянув в тетрадь. — Ты там дрался?

— Дрался.

— С кем?

— С тварями. С людьми. Один раз с самим собой.

Он поднял голову.

— В смысле?

— Там была штука, которая сделала мою копию, — сказал я. — Она выглядела как я, говорила как я и хотела занять моё место.

— И что?

— И её узнали не по мне, — сказал я. — Её узнали по тому, что она была добрее меня.

Лео долго на меня смотрел.

— Жёстко, — сказал он.

✱

Седьмой вопрос он задал не сразу.

Пролистал тетрадь, вернулся, посмотрел в неё, потом на меня.

— Ты там был один?

— Нет.

— С кем?

— Сначала с людьми, которые меня научили выживать, — сказал я. — Потом три года с одним человеком, которого ты знаешь.

— Кассия, — сказал он.

— Кассия.

— Она тебе кто?

Вот тут я остановился.

Я мог сказать «друг». Я мог сказать «мы вместе воевали». Я мог сказать много удобного, и он бы, наверное, взял.

Но на холодильнике висел лист, а на листе — пятнадцатый пункт, написанный его почерком.

— Она мне очень близкий человек, — сказал я. — Ближе, чем друг. Мы были рядом три года. Последние три месяца вдвоём шли по земле, где больше не было никого живого. Она несколько раз спасла мне жизнь, а я ей.

— То есть вы вместе, — сказал Лео.

— Да.

— А мама?

— А мама — моя жена, — сказал я. — И я её люблю. И я не знаю, как это будет дальше, и никто из нас троих не знает. Мы поэтому и написали правила.

Лео помолчал.

— Понятно, — сказал он и поставил галочку.

Больше он к этому не возвращался ни в тот вечер, ни потом, и я до сих пор не знаю, что он в тот момент понял и что решил.

✱

Восьмой вопрос был про меня.

— Почему ты не вернулся раньше?

— Не мог, — сказал я. — Семь лет искал дорогу обратно. Нашёл только весной.

— Ты искал семь лет?

— Для тебя — семь лет с лишним. Для меня — три года и два месяца.

Он нахмурился.

— Как это?

— Там время идёт по-другому, — сказал я. — Медленнее. Один мой день — примерно два с половиной ваших.

Лео взял ручку и начал считать на полях тетради. Я не мешал.

Считал он с минуту.

— Тогда получается, — сказал он, — что тебе сейчас не сорок два, а меньше.

— Тридцать восемь.

— А маме сорок один, — сказал Лео. — То есть ты теперь младше мамы.

Он поднял на меня глаза, и я увидел, как ему это смешно и как он не решается засмеяться.

— Смейся, — сказал я. — Я сам об этом думал.

Он засмеялся.



Девятый вопрос он задал, отсмеявшись, и голосом уже другим.

— А ты помнил про меня?

— Каждый день, — сказал я.

— Прямо каждый?

— Прямо каждый, — сказал я. — Хочешь, докажу?

— Как?

Я рассказал ему про пять правд.

Про то, как в мёртвой земле у меня стало путаться в голове и начали подсовывать неправильные воспоминания. Про то, как Кассия заставила меня продиктовать ей пять вещей, которые я знаю намертво, и хранила их за меня. Про то, как каждое утро она их проверяла: не сбился ли.

— И какие пять? — спросил Лео.

— Первая — про тебя, — сказал я. — Жёлтое ведёрко с белой ручкой живёт у тебя под кроватью, куплено для моря, и я тебе сказал: скоро, честно-честно.

Он моргнул.

— Вторая — тоже про тебя. Что в прихожей жёлтый свет, и когда я прихожу, ты бежишь из комнаты и говоришь «па-па», по слогам.

— Я так говорил?

— Ты так говорил, — сказал я. — Третья — про кухню, про две чашки и штору. Четвёртая — про хлеб, который я не купил. Пятая — про то утро.

Лео сидел молча.

Потом сказал:

— Ведёрко у меня на антресолях.

— Я знаю. Мама показывала.

— Я его не выбрасываю, — сказал он и покраснел, будто признался в чём-то стыдном. — Я не помню, почему. Я вообще про море не помню. Просто когда мама хотела выкинуть, у меня прямо... — он поискал слово, — прямо не дало.

— Не дало, — повторил я.

— Ага.

Мы посидели.

— Мы съездили на море, — сказал Лео. — Мама копила и накопила. Там было нормально, только вода холодная.

— Я видел фотографию.

— Ага, на холодильнике висит. — Он подумал. — Слушай, а получается, ты обещал, а поехали без тебя.

— Получается.

— Но обещание-то ты сдержал? — спросил он. — Не сам. Мама за тебя.

Я долго не мог ответить.

— Да, — сказал я наконец. — Мама за меня.

✱

Десятый вопрос был последним, который он прочитал по тетради.

Остальные девять он не задал никогда.

Я потом видел эту тетрадь — он оставил её на столе, и я не удержался и посмотрел. Одиннадцатый: «Ты нас бросил?» Двенадцатый: «Ты насовсем вернулся?» Тринадцатый: «Ты меня узнал?» Дальше не помню, я закрыл.

А десятый он задал так.

Он посмотрел в тетрадь, потом закрыл её и сказал наизусть, глядя мне в лицо:

— Ты умрёшь?

✱

Вот к этому я готовился месяц.

И весь месяц я знал, что отвечать на него один не имею права.

— Подожди, — сказал я. — На этот вопрос я один отвечать не буду. Мы договаривались: всё важное — сразу все трое. Ты сам так попросил.

Лео посмотрел на меня.

— Ты тянешь? — спросил он.

— Нет, — сказал я. — Я зову. Сиди тут.

Мира стояла в коридоре — я видел её тень на полу. Кассия была в комнате.

Я позвал обеих.

Они пришли и сели: Мира напротив сына, Кассия сбоку, у окна.

— Он спросил, умру ли я, — сказал я. — Отвечаем вместе.

Мира выдохнула — коротко, беззвучно, — и я понял, что она этого разговора ждала и боялась месяц, ровно как я.

— Отвечаю первая, — сказала она. — Лео, слушай. Папа болен.

— Сильно?

— Сильно, — сказала Мира. — Не заразно, нам с тобой ничего не грозит, это проверено. Но болезнь из того мира, и здешние врачи с ней ничего сделать не смогут. Мы проверили всё, что могли. Мы не сдаёмся, просто пока это так.

Лео сидел не шевелясь.

— Дальше говорю я, — сказал я. — Про сроки мы тебе сейчас не скажем.

— Почему?

— Потому что мы не готовы, — сказала Мира прежде, чем я успел ответить. — Не ты. Мы. Дай нам время подготовиться и сказать тебе это нормально, а не между делом на кухне. Мы скажем. До весны.

Кассия, которая всё это время молчала, произнесла по-русски — медленно, тщательно:

— Мы не врём. Мы говорим: не сейчас. Это разное.

Лео повернулся к ней.

— Ты тоже знаешь? — спросил он.

— Знаю, — сказала Кассия.

— Все знают, кроме меня.

— Да, — сказала она.

Он молчал секунд десять.

— Это «не скажем», а не враньё? — спросил он.

— Это «не скажем», — сказала Мира. — И ты имеешь право злиться.

— Ладно, — сказал Лео. — Тогда ладно. Я буду злиться немножко.

И вот тут он наконец перестал держать спину.

Мира встала первой — она всегда понимала такие вещи быстрее всех.

— Мы ненадолго выйдем, — сказала она и увела Кассию в комнату.

✱

Он не заплакал.

Он сделал другое: сполз со стула, обошёл стол, встал рядом со мной и уткнулся лбом мне в плечо. Молча, боком, стоя, — так, чтобы можно было в любую секунду отойти и сделать вид, что ничего не было.

Я не стал его обнимать. Я положил руку ему на спину и держал.

Мы простояли так, наверное, минуту.

От него пахло тёплым хлебом.

Не так, как в три года, — слабее, глуше, вперемешку со школой, улицей и чем-то ещё, чего в трёхлетнем не бывает. Но это был он, тот самый запах, который я вспоминал под чужим небом и называл вслух женщине с фронта как доказательство того, что я — это я.

— Ладно, — сказал Лео, отходя. — Я пойду.

— Иди.

Он дошёл до двери и обернулся.

— Пап.

Первый раз.

— Да?

— Ты только не молчи, — сказал он. — Если станет хуже — скажи сразу. Я не маленький.

— Скажу, — сказал я.

Он ушёл.

✱

Мира вернулась минут через десять, села на своё место и долго молчала.

— Ты правильно сделал, что позвал, — сказала она наконец.

— Я чуть не ответил сам.

— Я знаю, — сказала Мира. — Я слышала, как ты остановился. Вот за это спасибо.

Она помолчала.

— Насчёт срока я не уверена, — сказала она. — Но правильно. Ему десять. Он не выдержит точную дату: он будет считать каждый день и больше ни о чём думать не сможет, я его знаю. — Она помолчала. — Скажем в феврале. Или в марте. Ближе.

— Хорошо.

— И скажем втроём, — сказала она. — Как он просил.

Она посмотрела на закрытую дверь детской.

— Он назвал тебя «пап», — сказала она.

— Назвал.

— Знаешь, сколько я этого ждала?

— Семь лет?

— Нет, — сказала Мира. — Месяц. Я всё это время ждала, скажет он это или нет. Я даже спорить с собой начала. — Она встала и стала убирать со стола. — Проиграла.

✱

Ночью я лежал на своих табуретах и вёл счёт, как всегда.

Четырнадцатое ноября. Прошёл месяц. Осталось семь месяцев.

Тиков — одиннадцать.

Долгов — один, и он теперь висел на мне тяжелее всех остальных: где-то до весны сесть втроём и сказать десятилетнему мальчику, у которого только что появился отец, что этого отца не будет к лету.

Я лежал и думал, что месяц назад считал главным дойти.

А теперь оказалось, что дойти — это была лёгкая часть.

Глава 12. Нить дёрнулась

Двадцать пятое ноября было из тех дней, которые потом вспоминаешь с раздражением: ничего не предвещало, и это раздражает больше всего.

Утром я отвёл Лео в школу — второй раз в жизни и первый, когда он не возражал. Днём закончил вторую халтуру и получил тридцать тысяч. Вечером Кассия принесла с работы деньги и в первый раз положила свою часть в общий котёл, как значилось во втором пункте; Мира при этом ничего не сказала, только кивнула, и они обе остались страшно довольны.

За ужином Лео рассказывал про какую-то историю с физруком. Кассия впервые пошутила по-русски — коряво, с двумя ошибками, и все смеялись, и она смеялась тоже.

Это был лучший день за первые шесть недель.

А двадцать шестого ноября, в двадцать минут первого ночи, нить дёрнулась во второй раз.

Я знаю время до минуты, потому что посмотрел сразу — рефлекс из мёртвой земли: случилось непонятное, зафиксируй час.

На этот раз списать было не на что.

Первый рывок, тот, в начале ноября, был как дрогнувшая во сне мышца: слабо, коротко, между сном и явью. Этот меня разбудил.

Я лежал на своих табуретах, в темноте кухни, при свете лампы над плитой, — и нить натянулась.

От груди назад и вверх. Не рывок даже — потяг: как тянут не за верёвку, а за леску, чтобы понять, сидит ли на том конце что-нибудь. Долгий, ровный, секунды на три.

Потом отпустило.

Я сел. Прислушался к себе. Проверил ход: одиннадцать между толчками, как всегда.

Через минуту повторилось.

Ещё через минуту — снова.

Три раза с равными промежутками — минута и минута.

Я хочу описать точнее, потому что потом это описание понадобилось и мне пришлось повторять его разным людям.

Это не боль. Это даже не совсем ощущение в теле. Ближе всего — как если бы у вас между лопаток был вбит крюк, о котором вы забыли, потому что он не мешает; и вдруг кто-то очень далеко, за много вёрст, взялся за верёвку, привязанную к этому крюку, и потянул.

Вы ничего не чувствуете кожей. Вас никуда не тащит. Просто на секунду в вас появляется натяжение, которого не вы создали.

И вместе с ним появляется знание: там кто-то есть.

Я сидел в темноте на кухне и считал промежутки, и на третьем понял, что мне это устройство знакомо.

Так проверяют связь.

✱

В шахтах Гильдии сигналият верёвкой: один рывок — иду, два — стой, три — тяни. В мёртвой земле мы с Кассией придумали то же самое, на шестьдесят шагов, у последней черты.

А человек, который не знает, есть ли кто на том конце, делает по-другому.

Он дёргает не сигнал. Он дёргает **пробу**: раз, пауза, ещё раз, пауза, ещё раз — три одинаковых, ровных, без смысла. Он не приказывает и не зовёт. Он проверяет, натянута ли линия и держит ли она вес.

Именно так это и было.

Я сделал всё, что мог сделать в ту ночь.

Проверил ход: одиннадцать, ровно, без изменений. Пересчитал трижды, вслепую, как считала бы Кассия.

Достал из кошелька кольцо и подержал в кулаке. Оно было холодное и мёртвое, каким стало у оврага. Ни тепла, ни стука, ничего.

Приложил ладонь к полу — глупость, конечно, но я сорок семь дней слушал землю через ладонь и не смог себя удержать. Пол был просто холодный пол.

Записал в тетрадь дату, час и слово «три раза».

И сел ждать, будет ли четвёртый.

Я просидел на кухне до пяти утра.

Больше ничего не случилось. Нить лежала спокойно, ход шёл ровно, за окном стояла глухая ноябрьская темнота — до рассвета оставалось ещё часа три.

К шести я сформулировал то, что мне не понравилось.

Первое: на другом конце кто-то есть, и он не потерял линию. Он её проверяет.

Второе: между первым разом и вторым прошло около трёх недель. Значит, это не случайность и не остаток от перехода — это повторяется.

Третье, и самое неприятное: если он проверяет — значит, собирается пользоваться.

✱

Днём я разложил это, как раскладывал всегда, — версиями.

Первая: мне померещилось. Отброшена сразу. Три раза с равным промежутком не мерещатся, а если мерещатся, то дальше уже неважно, потому что человеку с такими галлюцинациями нельзя жить в одной квартире с ребёнком.

Вторая: это остаточное. Дверь была полтора месяца назад, переход тяжёлый, тело до сих пор чинится — вот оно и отзывается. Версия хорошая, удобная и почти правдоподобная. У неё был один изъян: остаточное затухает, а это стало сильнее.

Третья: линия работает, и с той стороны ею пользуются.

Я перебрал всё, чем можно было отбить третью версию, и не нашёл ничего.

Никому я так ничего и не сказал.

Я записываю это здесь прямо, потому что дальше эта строка будет дорого стоить.

Отдельно я проверил самое страшное — не зов ли это.

Зов я знаю. Сорок семь дней мы с Кассией шли туда, откуда он звучал: каждый шаг, каждую ночь — тяга, ласковая и терпеливая, которая уговаривает идти на восток и садиться лицом к середине. Я видел, что он делает с людьми, и видел семьдесят четыре человека, которые его послушались.

Это было не то.

Меня никуда не звало. Мне ничего не обещали и ничего не показывали. Не было ни тепла, ни покоя, ни того тихого «домой», от которого у людей делаются ясные лица.

Меня трогали.

Так трогают вещь в темноте, чтобы понять, на месте ли она.

И вот это, если честно, было хуже зова. Зов хотя бы обращался ко мне как к человеку — уговаривал, обманывал, обещал. А тут со мной обращались как с предметом, о котором помнят, что он лежит вот здесь.

У меня было три причины, и все три казались мне тогда разумными.

Первая: доказать я ничего не мог. Мне дёрнуло в груди — и всё; ни прибора, ни свидетеля. Я сам себе не поверил бы, если бы услышал такое от другого.

Вторая: я не знал, что с этим делать. Сказать «мне кажется, кто-то проверяет связь со мной» — и что дальше? Бежать? Куда? Прятаться? От чего?

Третья, настоящая, — я держал её глубже двух первых и осознал только в январе.

Мы жили сорок три дня. У нас появился лист на холодильнике. Мира начала иногда смеяться. Лео назвал меня «пап». Кассия работала и учила язык. Всё это было хрупкое, только что склеенное, и держалось на честном слове.

И вот я должен был прийти на кухню и сказать: помните ту штуку у меня под рёбрами? Так вот, на том конце кто-то есть, и он про меня помнит.

Я подходил к этому дважды в тот же день.

Первый раз — утром, когда Мира собиралась на работу. Я стоял в коридоре, держал её пальто и сказал: «Слушай». Она обернулась: «Что?» А я посмотрел на неё — собранную, спешащую, с сумкой на плече, в первый спокойный месяц за семь лет, — и сказал: «Ничего. Хорошего дня».

Второй раз — вечером, когда мы с Кассией мыли посуду. Она рядом, руки в воде, всё как в мёртвой земле, только вместо котелка тарелки. Я уже открыл рот.

И тут из комнаты крикнул Лео: «Кассия, иди сюда, я тебе покажу!» — и она вытерла руки и ушла.

Потом я долго думал: если бы он не крикнул, сказал бы я или нет.

Честный ответ — не знаю. Скорее всего, нет. Люди, которые собираются молчать, всегда находят себе крикнувшего мальчика.

Я не смог.

Я, который в мёртвой земле вёл счёт наперекор всем и отдал его весь, до последней цифры; который написал седьмым пунктом «плохие новости говорим сразу» и подписался под ним, — я утаил первую же плохую новость на Земле.

По той же причине, по которой люди утаивают всегда.

Не чтобы обмануть. Чтобы не портить.

На следующее утро я вышел на кухню первым, поставил чайник и стал резать хлеб. Пришёл Лео, сонный, сел, посмотрел на меня и спросил, случилось ли что-нибудь.

Я сказал: нет.

Это была первая прямая ложь, которую я сказал сыну.

Я запомнил и её тоже.

Глава 13. Море

Идея была Лео, и он её выстрадал.

Двадцать восьмого ноября, в воскресенье, за завтраком, он положил на стол телефон экраном вверх и сказал:

— Вот. Двести восемьдесят рублей туда, двести восемьдесят обратно. Электричка в восемь ноль пять, обратно в семь вечера. На четверых — две тысячи двести сорок.

Мира взяла телефон.

— Ты куда собрался?

— На море, — сказал Лео.

— В ноябре.

— В ноябре, — сказал он. — Мам, я всё посчитал. Там сейчас пусто, никого нет. Кассия никогда не видела моря. Вообще никогда, я спрашивал. И папа не видел, как я впервые увидел море.

Он сказал это очень быстро, глядя в стол, — заготовленную фразу, которую репетировал.

Мира отдала телефон.

— В субботу, — сказала она. — В следующую. И не спорь: у меня отчёт.

✱

Мы поехали четвёртого декабря, в субботу.

Залив был в полутора часах езды — то самое место, куда они ездили без меня и куда доехало жёлтое ведёрко. Не курорт, не юг: серая балтийская вода, сосны, песок цвета мокрого картона.

В ноябре и декабре туда почти никто не ездит.

Электричка была почти пустая. Кассия села у окна и просидела всю дорогу не шевелясь, глядя наружу, — она всегда так ездила, я привык. Лео сидел напротив и половину пути рассказывал ей про поезда, а вторую половину спал, привалившись к её плечу.

Мира сидела рядом со мной.

— Ты знаешь, сколько мы копили на ту поездку? — сказала она вдруг, глядя на них. — Полтора года. Я откладывала с каждой зарплаты, а он спрашивал каждый месяц: уже хватит?

— Полтора года на билеты за двести восемьдесят рублей?

— Мы тогда на неделю ехали, — сказала Мира. — В пансионат, с жильём, с едой. На это и копили. А сегодня одним днём туда и обратно, и это, между прочим, придумал он, а не я.

— Я знаю про ведёрко.

— Ведёрко было отдельно, — сказала Мира. — Ведёрко он взял сам, без спроса, засунул в рюкзак и всю дорогу держал на коленях. Я поняла, только когда мы приехали и он его достал.

Она помолчала.

— Он тогда спросил: «А папа знает, что мы всё-таки поехали?»

✱

Море открылось сразу за станцией.

Мы дошли до конца улицы, поднялись на дюну — и оно легло перед нами: серое, плоское, до горизонта, под низким белым небом.

Кассия остановилась.

Я стоял рядом и смотрел не на воду, а на неё, потому что знал, что сейчас увижу что-то, чего больше не увижу никогда.

Она стояла и молчала — долго, наверное, минуту. Потом сказала, не оборачиваясь, по-своему:

— Сколько.

— Что «сколько»?

— Сколько её, — сказала Кассия. — Я думала, я знаю, что такое много воды. Я видела разлив в мёртвой земле, от края до края. Я думала — вот это много.

Она смотрела вперёд.

— Та вода стояла, — сказала она. — Мёртвая, гладкая. А эта — живая. Она движется, слышишь? Она всё время движется, и её никто не заставляет.

Лео дёрнул её за рукав:

— Пошли вниз!

И она пошла вниз, и с этого момента вела себя, как ведут себя все люди, впервые увидевшие море: молча, деловито и совершенно нелепо.

✱

Она попробовала воду на вкус.

Присела у самой кромки, зачерпнула ладонью, поднесла к губам — и я не успел её остановить.

Плевалась она долго и от души.

— Солёная! — сказала она с таким возмущением, будто её обманули на рынке. — Адам! Она солёная!

— Я говорил.

— Ты говорил «солёная», а я думала — совсем немного! Она вся такая? — Она вытирала рот рукавом. — Это же... это невозможно пить. Вообще. Никак.

— Никак.

Кассия посмотрела на воду до горизонта, потом на меня.

— Значит, вот столько воды, — сказала она медленно, — и вся негодная.

И засмеялась.

Она смеялась минуты полторы — редко, отрывисто, как человек, который делает это нечасто, — и Лео смеялся вместе с ней, не понимая чему, и Мира стояла в стороне и улыбалась.

— Что смешного? — спросил я.

— Ты не поймёшь, — сказала Кассия, отсмеявшись. — Ты не жил там, где считают фляги. Я три месяца думала о воде каждый день. Каждый. А тут её столько, что и за тысячу лет не выпить, и она вся не для питья. Это же издевательство.

Она вытерла глаза.

— Хорошее издевательство, — сказала она. — Мне нравится ваш мир, герой. Он щедрый и дурак.

✱

Дальше был день, и я его перескажу коротко, потому что он был счастливый, а счастливые дни плохо пересказываются.

Лео учил Кассию бросать плоские камни, чтобы прыгали по воде. У неё не получалось час. Потом получилось — семь отскоков, — и она посмотрела на него так, будто взяла крепость.

Мира разложила еду на брёвнышке: термос, бутерброды, яйца, огурцы. Мы ели, сидя на бревне в ряд, и ветер уносил салфетки, и Лео за ними бегал.

Кассия сняла ботинки и ходила по кромке босиком, в декабре, — я сказал, что она простудится, и она посмотрела на меня, как на слабоумного.

Мы нашли ракушку, три стекляшки и дохлого краба, которого Лео хотел взять домой и не взял, потому что мать сказала «нет» тем самым голосом.

Лео рассказал Кассии, как они приехали сюда в первый раз и как он строил замок с башнями, а вода его смыла, и он ревел, а мама сказала: строй новый, ближе к дюне.

— И построил? — спросила Кассия.

— Построил, — сказал Лео. — Он до сих пор, наверное, там где-то.

Он сказал это серьёзно, и никто не стал ему возражать.

✱

Один разговор из того дня я записываю целиком.

Мы с Мирой сидели на бревне, а те двое ушли по кромке далеко, до самого мыса, и оттуда доносился голос Лео — он что-то объяснял, размахивая руками.

— Смотри, — сказала Мира.

— Смотрю.

— Нет, ты правда смотри, — сказала она. — Он с ней разговаривает больше, чем со мной за месяц.

Я хотел что-то сказать. Она подняла руку.

— Я не ревную, — сказала Мира. — Я думаю. Я семь лет была у него единственным взрослым. И я всё время была уставшая. Ты понимаешь, что это значит для ребёнка? У него была мама, которая любит и всё время устала.

Она смотрела на две фигуры у воды.

— А эта не устала, — сказала она. — Она вообще никуда не спешит. Она может три часа смотреть в окно и ничего при этом не делать. Я так не умею с двадцати пяти лет.

— Ты хочешь, чтобы я что-то сделал?

— Я хочу, чтобы ты понял одну вещь, — сказала Мира. — Я в первый вечер решила, что она у меня забирает. Мужа забирает, место в доме забирает. Я месяц с этим жила.

— А теперь?

— А теперь я смотрю, как мой сын идёт по берегу и полчаса рассказывает человеку про поезда, — сказала она. — И понимаю, что она ему даёт то, чего я дать не могу. Не потому, что плохая мать. Потому, что у меня работа, ипотека и вечная усталость, а у неё — время.

Мира помолчала.

— И вот это, Адам, самая неудобная мысль из всех, что у меня были за этот месяц, — сказала она. — Потому что если она однажды уйдёт, ему будет плохо. По-настоящему. И я не знаю, что мне с этим делать.

✱

Обратно ехали в темноте.

Лео уснул на первом же перегоне — по-настоящему, всем весом, головой у матери на коленях. Мира сидела и держала руку у него на спине, глядя в чёрное окно.

Кассия сидела напротив меня.

— Спасибо, — сказала она вдруг по-русски. Потом, поняв, что не хватит слов, перешла на своё: — За сегодня. Я не буду говорить длинно. Просто спасибо.

— Мальчик придумал, не я.

— Мальчик придумал, — согласилась она. — Но приехали все.

Она посмотрела в окно, на летящую мимо темноту.

— Я сегодня впервые с тех пор, как мы вернулись, ничего не считала, — сказала она. — Ни разу за день. Ни про твой срок, ни про деньги, ни про то, что будет дальше.

Я молчал.

— Ты знаешь, что я тебе сейчас скажу, — сказала Кассия. — И скажу один раз, а ты решай.

— Говори.

— У тебя было восемь месяцев, — сказала она. — Почти два уже прошло, и я не помню в них ни одного такого дня, как сегодня. Всё остальное было дело, бумаги, счёт и вечера, когда ты сидишь с тетрадью.

Она смотрела мне в глаза.

— Ты живёшь как человек, у которого впереди много времени, — сказала она. — Я это знаю, потому что сама так жила на фронтире. Только у тебя нет много времени.

✱

Вот здесь мне надо было сказать.

У меня было всё, чтобы сказать: тёмный вагон, спящий сын, женщина напротив, вторая — в двух шагах, и разговор, который сам вывел ровно туда, куда нужно.

Я мог сказать: слушай, а ведь восемь дней назад меня дёрнуло второй раз, и я думаю, что это не остаточное, и я думаю, что там кто-то есть.

Я открыл рот.

И сказал:

— Ты права. Буду исправляться.

Кассия кивнула и отвернулась к окну.

Я до сих пор помню, какое у меня было в этот момент чувство — не стыд, нет. Облегчение.

Оттого, что день не испорчен.

✱

Домой мы пришли в десятом часу. Лео проспал всю дорогу и еле дошёл до кровати; Мира отнесла его вещи и вернулась на кухню, где мы пили чай.

— Хороший был день, — сказала она.

— Хороший.

— Давайте так, — сказала Мира. — Раз в месяц. Один день, никаких дел, куда-нибудь. Хоть в парк, хоть в кино, хоть просто гулять. Запишем в правила шестнадцатым пунктом.

— Запишем, — сказал я.

Мы записали в тот же вечер, а утром показали Лео. Он прочёл, кивнул и приписал внизу своей рукой три слова.

«16. Раз в месяц — общий выходной. Дела в этот день не обсуждаются. Придумывает по очереди».

Этот пункт мы выполнили ровно два раза. Второй — в конце декабря.

А потом стало не до того.

✱

Ночью я лежал на своих табуретах и слушал, как дышит квартира.

Четвёртое декабря. Прошёл пятьдесят один день. Осталось шесть месяцев и десять дней.

Одиннадцать тиков.

Нить молчала восемь дней — с двадцать шестого ноября.

Я лежал и думал не о ней. Я думал о том, что сказала Кассия в вагоне, и о том, что она права, и что завтра надо будет начать жить иначе.

А ещё я думал про мальчика, который строил замок ближе к дюне.

Я и заснул на этом — на замке, который «до сих пор, наверное, там где-то», — и это была последняя ночь, когда я засыпал без вопроса, что происходит на другом конце нити.

Глава 14. Мама

Вопрос, ехать ли к матери вообще, мы с Мирой решали три недели.

Разговор начался ещё до экспертизы, в середине ноября, и первым его начал не я.

— Ей семьдесят девять, — сказала Мира. — Давай считать честно, ты это умеешь. Мы приходим к старухе и говорим: ваш сын жив. Она этому обрадуется так, как ты себе даже не представляешь. А через полгода мы приходим второй раз и говорим: он умер.

— Знаю.

— Ничего ты не знаешь, — сказала Мира. — Я хоронила мужа. Она хоронила сына. Это разные вещи, Адам, и вторая хуже, я это видела своими глазами на тех похоронах.

Я молчал.

— И вот теперь мы можем заставить её пережить это дважды, — сказала она. — За семь месяцев. В семьдесят девять лет.

Мы возвращались к этому четыре раза.

Доводы «не говорить» были сильные, и я их запомнил все. Она старая. У неё сердце. Она уже отгоревала — не так, как я хотел бы, но отгоревала и живёт. Она ничего не потеряет от незнания: сын для неё умер семь лет назад, и в этом смысле ничего не изменится. Зачем поднимать человека с постели только для того, чтобы уронить обратно.

Доводы «сказать» были всего два, и оба неудобные.

Первый — Кассия. Она выслушала, подумала и сказала, не поднимая головы от своей работы:

— У нас на фронтире считают так: когда решаешь за старого, ты сначала спроси себя, ты его бережёшь или себя. Себя обычно. Потому что сказать — тяжело тебе, а не ему.

Второй сказала Мира, и он всё и решил.

— Знаешь, что самое поганое? — сказала она. — Мы сейчас обсуждаем, имеет ли она право на полгода со своим сыном. Мы вдвоём. Не она. — Она посмотрела на меня. — Мне это уже делали, Адам. Мне все семь лет решали, что мне лучше знать, а что не лучше. И знаешь, что я тебе скажу? Пусть лучше человек сам выбирает, что ему вынести.

На этом мы и остановились.

Мира съездила к ней первой — за неделю до экспертизы, чтобы сказать без меня, чтобы у матери было время сесть и подумать, прежде чем видеть моё лицо в дверях.

А потом поехал я.

✱

К матери я поехал на следующий день после залива, в воскресенье, пятого декабря.

Один.

Мира предлагала поехать вместе — «я всё-таки семь лет к ней ездила, мне проще начать разговор». Я отказался.

Не из гордости. Из арифметики: она ездила к ней семь лет, а я не был у матери больше семи. Мне казалось несправедливым явиться туда под её прикрытием.

Я ошибся, конечно. Надо было ехать вместе.

✱

Мать жила в двух остановках метро и получасе пешком: та же квартира, в которой я вырос, третий этаж, окна во двор.

Одна.

Отец слёг ещё в тот год, когда закрыли проект и я остался без работы; я тогда полгода мотался по больницам, выбивал врачей, платил и договаривался. Он выкарабкался, но до конца так и не восстановился. Когда ему сообщили, что его единственный сын погиб в аварии, это подкосило его окончательно. Через три недели отца не стало.

За несколько недель мать похоронила мужа и сына — и осталась в этой квартире одна. Она никуда не переехала, хотя мы с Мирой когда-то звали.

Материал для экспертизы у неё взяли ещё в конце ноября — приезжали на дом из лаборатории, которую нашла юрист. Мира ей объяснила заранее, как сумела: нашлись основания полагать, что заключение о смерти было ошибочным, нужна проверка.

Что именно поняла из этого объяснения женщина семидесяти девяти лет, я не знал.

Как прошёл тот её приезд, я узнал уже потом, с её слов.

Мира сказала прямо, без подготовки: Адам жив, он вернулся, он придёт к вам сам, когда сможет.

Мать выслушала, помолчала и спросила одно:

— Он ест нормально?

Мира сказала, что нормально.

— Тогда пусть приходит, — сказала мать. — Я блинов напеку.

И, по словам Миры, встала и пошла ставить чайник, потому что гостю надо поить чаем, а всё остальное — потом.

Я поднялся на третий этаж и позвонил.

За дверью долго возились. Потом она открыла — сразу, без цепочки, не спросив кто.

Маленькая. Она стала совсем маленькой — я помнил её другой, крупной, занимавшей весь дверной проём. Седая, аккуратно причёсанная — она всегда причёсывалась, даже дома. В халате, в тапках, с полотенцем в руке: видимо, вытирала посуду и пошла открывать.

Она посмотрела на меня снизу вверх.

И сказала:

— Ну наконец-то. Раздевайся, суп на плите.

✱

Так это и было.

Ни крика, ни слёз, ни обморока. Женщина, которая семь лет назад почти одновременно похоронила мужа и единственного сына, открыла дверь, увидела его и сказала про суп.

Я разулся, повесил куртку. Прошёл на кухню — ту самую, шесть квадратов, клеёнка на столе, календарь с котятками на стене.

Она налила суп. Поставила передо мной. Села напротив.

— Худой, — сказала она. — Тебя там не кормили?

— Мам.

— Ешь, потом разговаривай.

Я ел суп на кухне своего детства и не мог поднять глаза, потому что если бы поднял — не смог бы есть.

Она сидела и смотрела, как я ем.

Так, как смотрят все матери в мире, — то есть с выражением, для которого нет слова ни в одном языке из тех, что я знаю, а знаю я к этому моменту два.

✱

Потом мы говорили три часа, и вот что я узнал.

Она не поверила в мою смерть.

Не так, как Мира — головой, требуя тела и доказательств. Совсем иначе: она приняла всё, что ей сказали, ходила на похороны, оплакала и продолжала жить дальше — и при этом внутри у неё ничего не сдвинулось.

— Я тебя тут ждала, — сказала она. — Не то чтобы ждала. Просто не отвыкла.

— Мам, ты понимаешь, что я семь лет...

— Я понимаю, что тебя семь лет не было, — сказала она. — И понимаю, что ты сейчас сидишь. Больше мне ничего понимать не нужно, я старая.

Она подлила мне супа, не спрашивая.

— Мира приезжала, — сказала она. — Каждый месяц. С Лёвкой. Ни одного месяца не пропустила, кроме того, когда он с ветрянкой лежал.

— Я знаю, — сказал я.

— Ничего ты не знаешь, — сказала мать. — Она мне продукты возила. Мне, чужой в общем-то бабке, у которой сын помер. Семь лет, Адам. Ты понимаешь, что это за женщина?

— Понимаю.

— Ни черта ты не понимаешь, — сказала она. — Ты и раньше не понимал, а теперь и подавно.

✱

Пока она разливала суп, я смотрел на неё и делал то, чего делать не следовало: считал.

За семь лет она будто стала ещё меньше. Ходила, держась за мебель, — не постоянно, а как ходят те, кто уже привык проверять опору. На подоконнике стояли лекарства в семидневной коробочке с отделениями по дням: их было шесть.

Я вспомнил её такой, какой оставил, — семидесятидвухлетней женщиной, которая сама таскала сумки из двух магазинов, ругалась с сантехником и не признавала ни лифта, ни помощи.

Вот это и было самое тяжёлое за весь день. Не мои семь лет, а её.

Я умер и вернулся, и для меня прошло три года. А она прожила эти семь целиком, по дню, и каждый из них её на что-нибудь укоротил.

Про то, где я был, я рассказал ей правду.

Я думал об этом всю дорогу и решил: не буду врать. Море не врал, сыну не врал — матери в семьдесят девять лет тем более не буду.

Я рассказал коротко, минут за двадцать: другой мир, три года, дорога обратно, дверь.

Мать выслушала не перебивая.

— Ага, — сказала она, когда я закончил.

— Ты мне не веришь.

— А какая разница? — сказала она. — Ты сидишь на моей кухне. Ты можешь мне сейчас рассказать, что был в плену, в Африке, у инопланетян или в другом мире, — и что мне с того? Мне восемьдесят через год. У меня сын вернулся. Остальное — подробности.

Она сложила руки на клеёнке.

— Я тебе одно скажу, — сказала она. — Про другой мир, может, и правда. Ты мне никогда не врал так, чтобы в глаза смотреть.

✱

Потом было тяжёлое.

Она спросила про Кассию — не сама: я сказал, потому что решил не врать.

Про то, что со мной вернулась женщина. Что она живёт у нас. Что Мира знает и что мы написали правила.

Мать долго молчала.

— Дурак, — сказала она наконец.

— Мам...

— Дурак, — повторила она. — Не потому, что привёл. А потому, что рассказываешь мне это с таким лицом, будто ждёшь, что я тебя пойму и пожалею.

Она смотрела на меня прямо.

— Мирку жалко, — сказала она. — Тебя не жалко. Ту женщину жалко, потому что она в чужой стране без родни и без языка при чужом мужике. А тебя, Адам, не жалко ни капли, и ты у меня сочувствия сегодня не проси.

Я и не просил.

Я сидел и слушал, и это было первое за два месяца, что мне сказали без всякой скидки на то, что я вернулся с того света.

— Ладно, — сказала мать, помолчав. — Живите как знаете. Вы взрослые. Только про Лёвку думайте, а не про себя.

— Мы думаем.

— Все думают, — сказала она. — А потом дети вырастают.

✱

Про болезнь я ей не сказал.

Вот тут я соврал — не словом, а умолчанием. Она спросила, почему я такой худой и почему у меня руки холодные; я сказал, что после всего этого организм долго приходит в себя.

Она посмотрела на меня и не стала спрашивать дальше.

Матери, я думаю, вообще узнают такие вещи первыми и просто молчат, пока им не скажут.

Я не сказал ей до самого конца.

Об этом я жалею отдельно, и это, наверное, единственное решение той зимы, которое я и сегодня считаю неправильным — не ошибочным, а именно неправильным.

Она имела право знать, что хоронить придётся дважды.

✱

Уходя, я задержался в прихожей.

На стене висели фотографии — те же самые, что висели всю мою жизнь, и одна новая: я, в рамке, с чёрной лентой в углу.

Мать перехватила мой взгляд.

— Сниму, — сказала она. — Завтра сниму.

— Не надо, — сказал я. — Пусть висит.

— Как это «пусть»?

— Так, — сказал я. — Один раз я уже там был. Пусть висит, мам. Не обязательно снимать сегодня.

Она посмотрела на фотографию, потом на меня.

И вот тут — впервые за три часа — у неё задрожал подбородок.

— Ты чего-то не договариваешь, — сказала она.

— Мам.

— Ладно, — сказала мать. — Не хочешь — не надо. Только ты приходи. Каждую неделю приходи, слышишь? Не как раньше, не раз в два месяца. Каждую.

— Буду.

— Обещаешь?

— Обещаю.

Это обещание я сдержал. Я приходил каждую неделю до самого марта — не всегда в воскресенье, но ни одной недели не пропустил, — и это оказались самые спокойные часы всей моей второй жизни: маленькая кухня, суп, календарь с котятками и женщина, которой не надо ничего объяснять.

✱

Результат экспертизы пришёл через два дня, седьмого декабря.

Юрист позвонила Мире, Мира позвонила мне.

Совпадение по прямой линии — мать и сын — подтверждено с той степенью вероятности, которую в заключениях пишут словами «практически исключено, что образцы принадлежат неродственным лицам».

Вечером мы сидели на кухне и смотрели на бумагу.

— Ну вот, — сказала Мира. — Ты официально мой муж.

— Ещё не официально.

— Экспертиза подтвердила, что ты её сын, — сказала она. — Для суда это главное. Остальное — процедура.

Кассия попросила перевести и, выслушав, сказала:

— То есть теперь бумага говорит, что ты — это ты?

— Примерно.

Она хмыкнула.

— У нас для этого хватало глаз, — сказала она. — Смотришь человеку в глаза и говоришь: не чёрные. И всё, никакой бумаги не надо.

— Тут глазам не верят.

— Тут вообще никому не верят, — сказала Кассия. — Я заметила. У вас всё держится на бумаге и на машинах, потому что людям верить нельзя. — Она подумала. — Наверное, вы правы. Вас слишком много, чтобы верить на слово.

✱

Ночью я лежал на своих табуретах и считал.

Седьмое декабря. Прошло пятьдесят четыре дня. Осталось шесть месяцев и семь дней.

Одиннадцать тиков.

Нить молчала одиннадцать дней.

Я лежал и думал о том, что у меня впервые появилась бумага, с которой государству предстояло признать, что я существую, и что эта бумага доказывает мою связь с матерью, — и что ни одна бумага в этом мире не докажет обратного факта.

Что через полгода эта связь оборвётся, и никакая экспертиза этого не заметит.

А ещё я думал про фотографию с чёрной лентой, которую попросил не снимать.

Тогда я думал, что это была деликатность.

Теперь понимаю, что это был расчёт.

✱

Заснуть я в ту ночь так и не смог.

Меня держала одна мысль: у матери была целая жизнь со мной, а у Лео — три года, которых он почти не помнил, и несколько оставшихся месяцев. Фотографии сохраняют лицо, но не голос, не поступки и не ответы на вопросы, которые он пока не умеет задать.

Всё остальное у него будет только из того, что я успею оставить.

Поэтому я встал, достал из ящика чистую тетрадь и открыл первую страницу.

Долго смотрел на неё.

Потом написал: «Я умер во вторник».

Глава 15. Аномалия

После первой строки сон так и не пришёл.

Я отложил тетрадь, снова лёг на табуреты, посмотрел на свет над плитой — и в третий раз за неделю подумал об одном и том же: где именно находится другой конец нити.

Думать было бесполезно. У меня не было ни одного факта о местонахождении другого конца.

За одиннадцать дней тишины я успел купить дешёвый туристический компас и несколько вечеров, когда все спали, проверял, влияет ли на него то, что сидит во мне. Стрелка не отклонилась ни на одно деление.

Нить уже дважды дёрнулась, но одиннадцать дней молчала; компас не замечал того, что чувствовал я.

Тогда я встал, взял старый телефон — Мира отдала мне свой прежний, со сломанным динамиком, — и, чтобы не лежать без толку, полез искать то единственное, за что можно было зацепиться.

Я искал магнитные аномалии.

Не потому, что верил в связь. Просто я хотел проверить, действительно ли на планете нет ничего, что вело бы себя странно.

Через сорок минут я нашёл первое.

✱

Это была новостная заметка от третьего декабря, четыре абзаца, на сайте, который перепечатывает пресс-релизы научных учреждений.

Повторная международная геофизическая экспедиция в северо-западной Африке приостановила работы. Причина: неустойчивые показания приборов на площадке около сорока квадратных километров. Магнитометры дают несогласованные значения, повторные замеры не воспроизводятся. Работы возобновятся после проверки оборудования.

Я прочёл трижды.

Потом отмотал назад и нашёл сентябрьское сообщение — то самое, про которое рассказывали в новостях в мои первые сутки дома, между погодой и спортом. Свёрнутая экспедиция, «приборы дают несогласованные показания, причины устанавливаются».

Сентябрь и декабрь. Две экспедиции. Одно место. Одна и та же формулировка.

Три месяца, и никто не назвал причину.

Вот это и было первым, что меня насторожило. Не аномалия — я про них ничего не знаю и знать не обязан. Меня насторожило, что за три месяца ни один человек не написал: «выяснилось, что это». Ни опровержения, ни объяснения, ни даже версии.

Так не бывает.

За двенадцать лет работы с чужой отчётностью я усвоил одну вещь: если по строке три месяца нет комментария, дело не в том, что она никому не интересна. Дело в том, что комментарий никто не может составить.

✱

К утру у меня было три сообщения.

Первое — Африка, о котором я уже сказал.

Второе я нашёл случайно, по слову «не воспроизводятся»: сообщение сейсмологической службы, ноябрьское, из Патагонии. Регистрируются низкочастотные колебания без очага. Не землетрясение: у землетрясения есть точка, откуда идёт волна. Здесь волна была, а точки не было.

Третье было хуже двух первых, и я нашёл его не в науке.

Региональная газета в Западной Австралии, конец ноября, заметка на восемь строк: в трёх посёлках за месяц пропало девять человек. Взрослые, разного возраста, ушли самостоятельно, ночью, никаких признаков насилия. Полиция связывает случаи между собой и просит откликнуться очевидцев.

Я сидел на кухне со старым телефоном в руке, и у меня в груди шло ровное чужое сердце. Девять человек. Ушли ночью, сами, без следов насилия.

Я знал, как это выглядит. В мёртвой земле я полдня шёл рядом с такой же колонной: люди сами ушли из своих домов и больше не оглядывались.

✱

Дальше я сделал то, чему меня учили в прошлой жизни: попытался опровергнуть собственную догадку.

Я не стал искать доказательств, что три сообщения связаны. Это была бы работа человека, который хочет подтвердить свою догадку, а такая работа всегда заканчивается успехом и всегда бесполезна.

Я сделал наоборот.

Я стал искать, чем эти три случая объясняются по отдельности — то есть искал, где я не прав.

По Африке нашёл четыре объяснения: залежи железной руды, солнечная активность, брак партии приборов, ошибка калибровки. Три из четырёх отвалились за час: залежи не дают несогласованных показаний, они дают стабильное смещение; солнечная активность отпала по датам: в нужные дни геомагнитных возмущений не фиксировали, а соседние станции показывали обычный фон; брак партии не бывает у трёх разных производителей.

Осталась ошибка калибровки — то есть «люди накосячили». Штука, которая объясняет что угодно и потому не объясняет ничего.

По Патагонии — вулканическая активность, оползень, техногенный шум. Все три отвалились сами: сейсмологи их проверили раньше меня и написали об этом в том же сообщении.

По Австралии — самое простое и самое вероятное: секта. Или наркотики. Или совпадение: девять человек за месяц на три посёлка — много, но не невозможно.

Вот тут я и застрял на два часа.

Потому что если по каждому случаю есть объяснение, пусть слабое, — то нет никакой связи, а есть человек, который хочет её увидеть.

Я знал этого человека. Я его два месяца видел в зеркале.

✱

Из тупика меня вывел Лео, и сам об этом не узнал.

Он вышел на кухню в семь утра, увидел меня с телефоном и сказал:

— Ты чего, всю ночь сидел?

— Работаю.

Он полез за хлопьями, потом вернулся и посмотрел на выписанные мной сообщения — три столбика с датами и странами.

— А сколько таких вообще бывает? — спросил он.

— В смысле?

— Ну, всего, — сказал Лео. — У нас в школе была задача про совпадения. Учительница объясняла: если в одной коробке десять красных мячей, надо посмотреть остальные. Если в каждой столько же — нормально. А если во всех ста коробках красных всего десять и все они в одной — тогда странно.

Я поставил чашку.

— Повтори, — сказал я.

— Чего?

— То, что ты сейчас сказал. Целиком.

Он повторил, недоумевая.

Я сидел и смотрел на десятилетнего мальчика, который за полминуты объяснил мне, что я всю ночь считал не то.

Я проверял каждое событие по отдельности — и, конечно, каждое объяснялось. Считать надо было не события.

Считать надо было, сколько таких событий вообще бывает.

✱

Дальше была неделя, и я прожил её в тетради.

Я собрал базу. Не по трём случаям, а по всем, какие смог найти: сообщения об аномальных показаниях приборов, о низкочастотных колебаниях без очага, о групповых уходах людей.

Взял пять лет. Это оказалось много работы: разные страны, разные языки, разные слова для одного и того же. Я вытаскивал их через переводчик, по словам, которые повторяются: «не воспроизводится», «источник не установлен», «повторные замеры».

Считал я так, как учили считать в моей прошлой жизни: сколько таких сообщений в среднем за месяц и как они распределены.

К четырнадцатому декабря у меня получилось следующее.

Первое. Сообщения о неустойчивых показаниях приборов бывают. В среднем — два-три в месяц по всему миру, и почти все с объяснением в течение недели.

Второе. За октябрь–ноябрь таких сообщений оказалось девять. Само по себе это было лишь выше обычного. Настораживало другое: семь из девяти оставались без объяснения, хотя обычно причина находилась в течение недели.

Третье, и на нём я перестал притворяться, что это упражнение. Ни одно из этих семи не находилось в местах, где такое бывает регулярно. Ни одного возле вулканов, ни одного в известных магнитных зонах.

И четвёртое.

Групповые уходы людей — то есть заметки о том, что несколько человек за короткий срок пропали, уйдя своими ногами, — за пять лет попадались редко, единицами и разрозненно.

За последние два месяца я нашёл их четыре.

И все четыре — в тех же регионах, что и семь необъяснённых аномалий.

Прежде чем поверить себе, я проделал ещё одну работу, самую скучную и самую нужную.

Я проверил, не ищу ли я лучше там, где хочу найти. Это профессиональная болезнь: когда ждёшь несоответствия в одном отделе, ты этот отдел и роешь, а по остальным идёшь бегом — и, конечно, находишь именно там.

Поэтому я взял три региона, где ничего не происходило, и прочесал их с той же плотностью: те же слова, тот же период, те же источники.

Чисто. Обычный фон: два сообщения за два месяца, оба с объяснением.

Значит, дело было не в том, что я лучше искал.

✱

Четырнадцатого декабря Кассия подошла ко мне сзади, когда я сидел с телефоном, и постояла у меня за плечом.

Я закрыл экран — быстро, не думая, тем движением, каким закрывают чужое.

Она это увидела. Я увидел, что она увидела.

— Извини, — сказала Кассия и отошла.

Вот это «извини» было хуже любого вопроса. Она не спросила, что я прячу. Она извинилась за то, что подошла.

Женщина, которая сто три дня спала спиной к моей спине и знала обо мне всё до последней цифры, теперь извинялась передо мной за то, что подошла со спины.

Я сказал себе: сегодня вечером скажу.

Вечером не сказал.

Пятнадцатого декабря я сел и написал в тетради одну строчку, которую потом видели три человека:

«7 мест. Приборы врут. Люди уходят. Никто не связал».

И под ней, ниже, ещё одну — от которой у меня самого похолодели руки, потому что я узнал почерк Предела:

«Так начинается».

✱

Тут я должен остановиться и сказать честно.

С двадцать шестого ноября я уже молчал о том, что кто-то проверяет линию. Теперь к ощущению в груди добавились семь точек на карте, и прежние оправдания стали звучать ещё хуже.

Я ждал не доказательств.

Я выторговывал себе ещё один обычный вечер дома.

✱

Шестнадцатого декабря я всё-таки сделал одну вещь.

Не сказал — сделал.

Я взял карту мира, самую обыкновенную, распечатал в копицентре у метро в двух экземплярах и вечером, когда все легли, отметил на ней семь точек.

Я смотрел на эти семь отметок минут двадцать.

Они лежали не кучей и не случайно.

Они лежали дугой — длинной, пологой, идущей через пять континентов, и промежутки между ними были похожие. Не идеальные — но похожие настолько, что глазу было не отвертеться.

Я сидел на кухне и смотрел на карту, на которой кто-то сеял по борозде.

Я не поверил глазу. Плоская карта врёт: проекция растягивает одно и сжимает другое, и дуга на бумаге может оказаться чем угодно.

Поэтому я выписал координаты всех семи точек и посчитал расстояния между ними по-настоящему, в картографическом сервисе, по очереди.

Шесть промежутков отличались друг от друга менее чем на десять процентов.

Случайную дугу могла нарисовать проекция. Почти равный шаг — нет.

И тогда я продолжил линию дальше — туда, где восьмой точки ещё не было.

Она уходила на север.

Я отложил телефон, потому что руки перестали слушаться, и просидел так до утра.

Глава 16. Зерно

Ехать было нельзя, и это я выяснил за один вечер.

Семнадцатого декабря я сел и честно посчитал, что нужно, чтобы человеку из этой квартиры оказаться в северо-западной Африке.

Загранпаспорт. Его не было и в ближайшие месяцы быть не могло: сначала суд должен вернуть меня в число живых, потом внутренний паспорт, и только после — заграничный. Виза. Билет — от восьмидесяти тысяч в один конец, у меня было пятьдесят три. Прививки, страховка, разрешение на въезд в район, где работала экспедиция.

И главное: на границе — любой границе, в любую сторону — у человека спрашивают документы.

Я мог доехать до аэропорта. Дальше начиналась стена, которую не проломишь ни деньгами, ни везением, ни тем, что у меня под рёбрами.

Мёртвый по бумагам не пересекает границ.

Я записал в тетради: «Ехать нельзя. Значит, считать».

✱

Считать — это то единственное, чем я всегда умел заменять невозможность действовать.

За двенадцать лет работы я проверял сотни складов и цехов. Большинство из них видел только в ведомостях; с людьми, подделывавшими цифры, почти никогда не разговаривал.

Я сидел в кабинете и смотрел на цифры.

И почти всегда находил.

Место, где не сходится, видно из кабинета не хуже, чем с места. Иногда лучше: тот, кто стоит на складе, видит один склад, а тот, кто сидит с ведомостями, видит все двести.

Значит, надо было сделать то же самое.

Не ехать в Африку. Сесть с ведомостями.

✱

Вопрос я себе сформулировал так: где именно.

Не «в каком регионе», а точка. Координаты. Потому что если у меня будет точка, то я смогу проверить себя: подождать и посмотреть, что там окажется. А если не будет — так и останусь человеком с семью кружочками на карте.

Старого телефона для такой работы не хватало. Я попросил у Миры ноутбук, сказав, что взял ещё одну халтуру. Она отдала его без вопросов, и от этого моя ложь стала только хуже.

Данных у меня было четыре набора.

Первый: район работ экспедиции. Из пресс-релиза — «около сорока квадратных километров», без координат, зато с названием ближайшего населённого пункта.

Второй: научные публикации по магнитным съёмкам этого района за прошлые годы. Их я нашёл три, все с картами, и на этих картах были аккуратные сетки координат — потому что нормальная научная работа всегда даёт сетку.

Третий: снимки со спутника, открытые, бесплатные, обновляющиеся раз в несколько суток. Я скачал все доступные с сентября по декабрь.

Четвёртый, и самый важный: люди.

Девять пропавших в Австралии, четыре группы уходов по всему миру, заметки в местных газетах. Из них можно вытащить то, чего нет ни в одной научной публикации: откуда человек ушёл и в какую сторону.

✱

С людьми я работал три дня.

Заметки были скудные: посёлок такой-то, ушёл тогда-то, «направление движения не установлено». Но в австралийских заметках два случая были описаны подробнее — потому что нашлись свидетели.

В одном: «видели идущим по дороге в сторону хребта».

В другом: «след автомобиля был обнаружен в двадцати километрах от посёлка, машина брошена, дальше следы пешие».

Я отметил на карте посёлки и провёл от них линии в указанных направлениях.

Две линии.

Они сходились.

Не идеально — с разбросом километров в тридцать, потому что «в сторону хребта» это не пеленг, а слова участкового. Но они сходились, и сходились в пустом месте, где нет ни дороги, ни посёлка, ни причины кому-либо туда идти.

По остальным очагам пришлось собирать направления из обрывков: записи дорожных камер, брошенные машины, последние отметки телефонов, маршруты поисковых групп.

Где находились хотя бы два независимых направления — появлялась точка. Где одно — оставалась линия.

К двадцатому декабря у меня было четыре точки, вычисленные по людям, и три района, определённых грубо.

✱

Двадцатого декабря Мира спросила меня напрямую.

Мы сидели вдвоём, поздно, все спали.

— Ты что-то нашёл, — сказала она.

— В смысле?

— Адам, — сказала Мира. — Ты по ночам сидишь с ноутбуком. Ты уже месяц не считаешь вслух. И ты стал выходить на лестницу по вечерам — просто так, без причины.

Вот тут я и должен был сказать.

Я это знал в ту секунду совершенно ясно, и знал, что она примет: она приняла другой мир, восемь месяцев и женщину на диване; приняла бы и это.

— Я разбираюсь с одной штукой, — сказал я. — Пока сырое. Как соберу — расскажу.

Мира посмотрела на меня.

— Хорошо, — сказала она.

И этим «хорошо» она мне поверила.

Через пять месяцев, в конце мая, она напомнит мне про этот вечер — не крича, не упрекая, а просто назвав дату. Двадцатое декабря.

И мне нечего будет ответить.

✱

Дальше я взял снимки.

Я не геолог и не умею читать спутниковую съёмку. Зато я умею одну вещь: сравнивать один и тот же объект в разные периоды и искать, где изменение не объясняется обычной причиной.

Именно так проверяют склады: берёшь остатки на первое число за двенадцать месяцев и смотришь, где кривая ведёт себя не как у соседей.

Я взял свою африканскую точку и скачал снимки за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Разница была.

На сентябрьском снимке — обычная каменистая равнина, светло-серая, с редкими пятнами растительности вдоль сухого русла.

На декабрьском в этом месте было пятно.

Тёмное. Не круглое — неправильной формы, километра полтора в поперечнике. Растительности вдоль русла в этом месте больше не было.

Я сидел и смотрел на это пятно, наверное, час.

Потом отмотал назад и стал смотреть по неделям.

Пятно росло.

В сентябре его не было. В начале октября — тёмная полоска вдоль русла, которую можно принять за тень. К концу октября — пятно около полукилометра. В конце ноября — примерно километр. На декабрьском снимке — уже полтора.

Оно расширялось примерно на полкилометра в месяц.

Сравнивать напрямую было нельзя. В Вэйлморе ободки отмечали проседание самой воронки, здесь спутник показывал изменение поверхности вокруг очага.

Но одно различие было бесспорным: там заметные перемены измерялись столетиями, здесь граница сдвигалась между соседними месяцами.

Если это было зерно, на Земле оно росло в другом темпе.

✱

Прежде чем поверить пятну, я проверил себя ещё раз — тем же способом, каким проверял в мёртвой земле каждую догадку.

Я взял три места, где ничего не происходило, и посмотрел их снимки за те же четыре месяца: участок такой же равнины в четырёхстах километрах западнее, район в Патагонии за тысячу с лишним километров от найденного очага и кусок австралийской пустыни наугад.

Все три вели себя одинаково: сезонные изменения, тени, чуть больше или чуть меньше растительности после дождей. Ни одного растущего пятна.

Потом я поднял снимки этой же площадки за те же месяцы предыдущих пяти лет. Русло темнело после редких дождей, растительность исчезала и возвращалась, но пятна не возникало ни разу.

Значит, дело было не в сезоне и не в том, что я научился видеть пятна там, где их нет.

Двадцать первого декабря я сделал последнее, что мог сделать, не выходя из этой кухни.

Я взял координаты центра пятна.

Записал их в тетрадь — четыре знака после запятой, как записывают координаты в отчётах: широта, долгота.

Потом сделал то, что должен был сделать любой человек с такими цифрами на руках.

Я завёл новый почтовый адрес и написал в геофизическую службу и в обе экспедиции, которые там работали, — с одной просьбой: повторно проверить, не расширяется ли зона.

Координаты и разметку я не приложил намеренно.

Приложи я их — и любой ответ службы перестал бы что-либо доказывать: я сам подсказал бы, где смотреть, и потом всю жизнь не знал бы, что они нашли, а что просто проверили по моей наводке.

Точные цифры я отправил письмом самому себе, на второй адрес, чтобы осталась дата.

В ответ от службы пришло автоматическое уведомление о регистрации обращения.

Больше — ничего.

Я и не рассчитывал. Письмо без имени, без института и без степени лежит в такой службе ровно там, где лежат письма про плоскую Землю.

Зато у обоих писем была дата отправки, и она оказалась куда важнее, чем я тогда думал.

Проверить самому — нельзя, я это уже посчитал.

Оставалось одно: ждать и смотреть, окажусь ли я прав.

Я так и записал: «Проверка: ждать. Если служба независимо сообщит о расширении зоны и её координаты совпадут с моими — метод рабочий».

Я ошибся в сроках.

Объявили через девять дней.

✱

Тридцатого декабря геологическая служба выпустила бюллетень.

Я нашёл его вечером, случайно, — по той же привычке проверять ленту.

Сообщалось, что на площадке в северо-западной Африке зафиксировано устойчивое расширение зоны с аномальными характеристиками грунта, что работы приостановлены до весны и что район рекомендован к ограничению доступа.

И были координаты.

Я открыл тетрадь на странице от двадцать первого декабря и положил рядом.

Совпадение по широте — до третьего знака. По долготе — до второго, дальше расхождение около семисот метров.

Семьсот метров для пятна поперечником полтора километра.

Я сидел на кухне и смотрел на две строчки цифр, написанные с разницей в девять дней, и никак не мог заставить себя обрадоваться.

✱

Правильнее сказать так: я обрадовался ровно на четыре секунды.

Четыре секунды я был человеком, у которого сошёлся расчёт. Это чувство я знаю хорошо, оно у меня профессиональное: когда сходится, внутри что-то щёлкает, и хочется встать и пройти.

Я даже встал.

А потом дошло.

Если метод рабочий — значит, всё остальное тоже правда. Значит, семь точек на дуге не рисунок. Значит, в семи точках могут расти семь пятен, и одно из них уже расширяется примерно на полкилометра в месяц. И люди, которые уходят из посёлков, идут не в никуда, а к таким местам.

И значит, восьмая точка тоже будет.

Я сел обратно.

Потом взял ручку и приписал в тетради под координатами одну строчку:

«Совпало. 30.12. Расхождение 700 м».

И ниже, другим почерком, потому что рука уже дрожала:

«Я не хочу быть правым».

✱

В новогоднюю ночь мы сидели вчетвером.

Мира достала скатерть, Кассия сделала что-то своё, фронтирное, из теста и мяса, Лео не спал до трёх и был совершенно счастлив. По телевизору шли передачи, за окном стреляли, в квартире пахло мандаринами.

Кассия попробовала шампанское и сказала, что это испорченное вино с пузырями и что у них таким поят лошадей.

Лео хохотал.

В двенадцать мы чокнулись, и Мира сказала:

— За то, чтобы этот год был спокойнее прошлого.

Я выпил за это.

Я сидел за столом, где было хорошо, смотрел на трёх человек и понимал, что через несколько дней мне придётся положить перед ними тетрадь.

В тетради к тому моменту было двадцать шесть страниц.

Семь точек, дуга, координаты, снимки по неделям, расчёт скорости, четыре группы уходов, две пеленгованные линии и подтверждение от тридцатого декабря.

И одна строчка от пятнадцатого, написанная моей рукой, но теми словами, в которых я уже узнавал почерк Предела:

«Так начинается».

✱

Ночью, когда все легли, я вышел на кухню, открыл тетрадь и записал итог за закончившийся день, как записывал каждый месяц:

«31 декабря. Прошло 78 дней. Осталось 5 месяцев 14 дней. Тики: 11».

Одиннадцать. За два с половиной месяца дома я не потратил ни одного.

Я смотрел на эту строчку и думал, что это, пожалуй, единственное, чем я могу гордиться за всё время с возвращения: одиннадцать тиков, ни одного применения, ни одной минуты, купленной за месяц жизни.

А потом подумал вторую мысль, и она была неизбежная.

Если там действительно то, что я думаю, — эти одиннадцать тиков очень скоро перестанут быть моей гордостью.

Они станут расходным материалом.

Глава 17. Одиннадцать лет

Одиннадцатого января Лео исполнилось одиннадцать.

Я узнал об этом не из календаря. Двадцать восьмого декабря Мира поставила передо мной кружку и сказала:

— Через две недели у него день рождения. Одиннадцатого. Ты в курсе?

— В курсе.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда думай, что подаришь. И имей в виду: у нас с ним есть традиция, и её ломать нельзя.

— Какая?

— Утром — торт. Не вечером, не после школы. Утром, до всего, — сказала Мира. — Мы завели это, когда ему исполнилось четыре: я поняла, что вечером я вымотанная и злая и праздник получается хуже, чем никакого. А утром я нормальная.

Она отпила чаю.

— Так что вставать в шесть. Торт из «Дружбы», шоколадный, с орехами. Свечи. Он их задувает, потом мы едим торт на завтрак, и он идёт в школу.

— Понял.

— Ничего ты не понял, — сказала Мира. — Ты сейчас думаешь, что это мило. А это семь лет подряд одно и то же, сейчас будет восьмой такой день рождения, и он на этом держится.

✱

Про подарок я думал две недели.

Денег к тому времени у меня было прилично: две халтуры, пятьдесят и тридцать. Часть уже ушла на дом и дорогу, но оставшегося всё равно хватало на хороший подарок: велосипед, телефон, приставку — всё, что покупают одиннадцатилетним.

Я даже ходил и смотрел. Стоял в магазине, разглядывал коробки, читал характеристики.

И понимал, что покупаю не то.

Не потому, что вещь плоха. Потому что я мог потратить сколько угодно — и всё равно купил бы ему просто вещь. Через год он о ней забудет, через три — потеряет, а через десять не вспомнит, кто её подарил.

Из всех подарков, которые я когда-то выбирал Лео, я по-настоящему помнил только один. Тот, который так и не подарил: жёлтое ведёрко с белой ручкой, для моря, куда мы поедем скоро, честно-честно.

Ведёрко пережило всё. Оно доехало до моря без меня и больше семи лет пролежало на антресолях, не дав себя выкинуть.

Вот такой подарок мне и был нужен, а такие в магазине не продаются.

Я советовался с Кассией.

Она выслушала, подумала и сказала:

— У нас мальчишкам дарят нож.

— Ему одиннадцать.

— И у нас одиннадцать, — сказала Кассия. — Не для драки. Чтобы резать верёвку, строгать, чинить. Это не оружие, герой, это первая взрослая вещь, которая только его.

— Мира не разрешит.

— Не разрешит, — согласилась она. — Значит, думай, что здесь у вас первая взрослая вещь. Оно у каждого народа своё.

✱

Утро одиннадцатого января я помню поминутно.

В шесть встала Мира. В шесть пятнадцать я вышел на кухню, и она уже доставала торт — коробка стояла на балконе со вчерашнего дня, чтобы Лео не нашёл.

Торт был именно тот: шоколадный, с орехами, из «Дружбы» на углу.

В шесть двадцать пришла Кассия — она встала сама, никто её не звал.

Мы втроём стояли на кухне и накрывали к завтраку в шесть утра, в темноте за окном, и Мира командовала шёпотом, как командуют на кухне перед праздником: тарелки туда, свечи в верхнем ящике, не греми.

В шесть сорок она поставила одиннадцать свечей.

Одиннадцать штук — она их считала вслух, вынимая из пачки, и на седьмой у неё дрогнула рука.

Я это увидел.

Она поймала мой взгляд и сказала одними губами:

— Семь без тебя.

Я кивнул.

Больше мы к этому не возвращались ни в тот день, ни потом.

✱

В семь Мира пошла его будить.

Я слышал из кухни, как она говорит ему на ухо то, что говорила семь лет подряд:

— С днём рождения, зайчик. Вставай, торт стынет.

Торт, разумеется, не стынет. Это была их формула — из тех, что придумываются один раз и живут потом всю жизнь.

Он вышел через минуту: заспанный, всклокоченный, в трусах и футболке, щурясь на свет.

Дошёл до кухни. Увидел стол.

И остановился.

Потому что семь предыдущих лет у торта его ждала только Мира.

Теперь нас было трое.

Я стоял слева, у плиты. Кассия — справа, у окна. Мира — за столом, со спичками в руках.

Лео стоял в дверях и смотрел на это, и я видел, как у него меняется лицо: сначала обычное сонное довольство, потом что-то ещё, и он это «ещё» проглотил и не показал.

— Ну чего вы, — сказал он хрипло. — Зажигайте.

Мира зажгла.

Одиннадцать свечей на шоколадном торте в семь утра, за окном темно, на столе четыре тарелки.

Он набрал воздуха и задул все разом, с первого раза, как задувают дети, которые делают это каждый год.

И тогда Кассия сказала:

— Стой. Загадал?

Лео замер.

— Я забыл, — сказал он растерянно. — Я забыл загадать.

— Тогда загадывай сейчас, — сказала Кассия. — У нас так можно. Пока дым идёт — считается.

Он зажмурился.

Стоял с закрытыми глазами секунд десять — долго для одиннадцатилетнего, — и по лицу было видно, что он не выбирает, а формулирует. Как формулируют то, что давно знают.

Потом открыл глаза и сказал:

— Всё.

✱

Подарки были такие.

Мира подарила кроссовки — те, которые он просил с осени и на которые она откладывала. Он завопил и полез обниматься, и это была та самая нормальная радость, ради которой всё и затевается.

Кассия подарила ремень.

Настоящий, кожаный, широкий, с простой пряжкой — она сделала его сама, я видел, как она с ним возилась по вечерам, но не спрашивал. С внутренней стороны, у самой пряжки, было вытиснено что-то мелкое.

— Что это? — спросил Лео.

— Твоё имя, — сказала Кассия. — Нашими буквами. У нас так делают: у человека должна быть одна вещь с его именем, чтобы он знал, чья она, если потеряется.

Лео надел ремень поверх пижамы и не снимал его до вечера.

А я подарил тетрадь.

✱

Обычную тетрадь. Толстую, в твёрдой обложке, восемьдесят листов.

Он взял её, повертел, и я увидел на его лице ровно то, что должен увидеть человек, подаривший ребёнку тетрадь на день рождения.

— Ага, — сказал Лео. — Спасибо.

Он старался. Мальчик был воспитанный, и он очень старался.

— Открой, — сказал я.

Он открыл.

На первой странице моей рукой было написано:

«Одиннадцать вопросов. По одному в год. Ты спрашиваешь — я отвечаю правду. Любую. Даже ту, которую взрослые обычно не говорят детям».

Он прочёл. Поднял голову.

— Правда любую?

— Любую, — сказал я. — Первый можешь задать сегодня. Или через месяц, когда придумаешь.

— А если я задам такой, на который вы с мамой договорились не отвечать?

Вот тут я на него посмотрел по-настоящему.

— Значит, отвечу, — сказал я. — Я тебе поэтому и дарю тетрадь, а не велосипед. Велосипед у тебя когда-нибудь сломается.

Лео сидел и смотрел на страницу.

— А писать сюда что?

— Вопросы, — сказал я. — И мои ответы. Я буду записывать сам, при тебе, чтобы потом не переспорить.

Мира стояла у плиты с ножом для торта в руке и смотрела на нас.

Она поняла, что я делаю. Она поняла это раньше, чем я договорил.

Одиннадцать вопросов по одному в год — это до его двадцати одного. Десять лет после сегодняшнего дня.

Их у меня не было.

✱

Первый вопрос он задал в тот же день, вечером.

Пришёл на кухню — уже в кроссовках, всё ещё в ремне, — сел напротив и положил тетрадь на стол.

— Я придумал, — сказал он. — Только он дурацкий.

— Дурацких не бывает.

— Бывает, — сказал Лео. — Ладно. Вопрос: тебе там было хорошо?

Я не ожидал.

Я готовился к «сколько тебе осталось», к «ты нас бросил», к «почему ты не вернулся раньше» — ко всему тяжёлому, к чему готовятся взрослые.

— Уточни, — сказал я.

— Ну там, — сказал он. — В другом мире. Ты всё время рассказываешь, как было плохо: мёртвая земля, твари, ты чуть не умер. А хорошо было? Хоть когда-нибудь?

Я думал минуту.

И ответил правду, потому что обещал правду.

— Да, — сказал я. — Было. И это самое стыдное, что я тебе могу рассказать.

— Почему стыдное?

— Потому что я туда попал, потеряв вас, — сказал я. — И должен был всё время только страдать и рваться домой. А я там жил. У меня был дом, работа, друзья. Я построил школу. Я был там нужен. Иногда я целый день не вспоминал ни тебя, ни маму — просто потому, что был занят.

Лео слушал очень внимательно.

— И мне за это до сих пор стыдно, — сказал я. — Хотя я знаю, что стыдиться тут нечего: человек не может семь лет только страдать, он от этого умирает. Но стыдно всё равно.

Он подумал.

— А мне тоже стыдно, — сказал Лео.

— За что?

— Мне без тебя было нормально, — сказал он. — Ну то есть я не помнил. Мне мама рассказывала, и я знал, что у меня был папа, и мне было грустно. Но я не скучал по-настоящему, потому что не помнил по чему скучать. — Он посмотрел в стол. — Я думал, что я плохой сын.

Я записал в тетради его вопрос и свой ответ.

А потом дописал ещё одну строчку, снизу, под чертой:

«Ты не плохой сын. Тебе было три года. Это моя работа была — вернуться раньше, а не твоя — помнить дольше».

✱

Вечером, когда он лёг, Мира вышла ко мне на кухню.

— Одиннадцать вопросов, — сказала она.

— Одиннадцать.

— Ты понимаешь, что он теперь будет ждать? Каждый год. В январе.

— Понимаю.

— И что в какой-то момент он придёт с тетрадью и тебя не будет.

— Понимаю, — сказал я.

Мира села. Помолчала.

— Знаешь, а это правильно, — сказала она наконец. — Я думала весь день и решила: правильно. Пусть у него будет вещь, которая ждёт. Всё лучше, чем вещь, которая просто лежит.

Она посмотрела на меня.

— Только ответь на все, на какие успеешь. Не растягивай по одному в год. Он попросит второй в феврале — отвечай.

— А если он попросит все одиннадцать разом?

— Значит, отвечай все одиннадцать разом, — сказала Мира. — Он мальчик умный. Он поймёт, зачем ему их отдали пачкой.

✱

Ночью я не спал и вёл счёт.

Одиннадцатое января. Прошло восемьдесят девять дней. Осталось пять месяцев и три дня.

Одиннадцать тиков.

Одиннадцать лет.

Одиннадцать вопросов.

Одиннадцать свечей.

Семь дней рождения без меня.

Я лежал и думал, что за всю мою жизнь — обе — это был лучший день. Лучше свадьбы, лучше первого дня Лео дома после роддома, лучше того часа, когда я вышел из мёртвой земли живым.

Потому что в те дни я был счастлив и не знал, сколько мне отпущено.

А в этот — знал.

Оказывается, это совсем разные вещи, и вторая крепче.

✱

И ещё одно, последнее, чего я в тот день не знал.

Пока мы ели торт в семь утра при свечах и задёрнутых от темноты шторах, за девять тысяч километров от нашей кухни, на другом конце планеты, в Патагонии, закрывали район площадью шестьдесят квадратных километров.

Официальное сообщение вышло в тот же день.

Я прочёл его через сутки, двенадцатого января, и тогда же понял, каким числом оно датировано.

Одиннадцатым.

С тех пор я всегда знал: в тот единственный день, когда мы вчетвером ни о чём не думали, — считал кто-то другой.

Глава 18. Как это выглядит для них

Чтобы понять, что происходило вокруг нас в те дни, придётся вернуться на шесть дней назад.

Пятого января вечером Мира вошла на кухню с телефоном в руке.

— Слушай, — сказала она. — Ты видел? В Африке какая-то дрянь. Пишут, зона какая-то, приборы врут, людей вывозят.

Я сидел за столом. Ноутбук был закрыт.

— Видел, — сказал я.

— Странно, да?

— Странно.

Она постояла, глядя на экран, потом убрала телефон и стала мыть посуду.

Я сидел и смотрел ей в спину, и у меня в тетради под столом лежали двадцать шесть страниц, и до момента, когда я всё-таки положу их на этот стол, оставалось ещё двадцать шесть дней.

✱

Дальше я расскажу январь не по себе, а по миру.

Не потому, что я где-то был, а потому, что весь январь только и делал, что читал. Я знаю эту хронику по дням лучше, чем собственную биографию, и знаю то, чего в ней нет: как это называлось на самом деле.

Мир узнавал ту же историю, что и я, — но с другого конца и совсем другими словами.

Ни в одном отчёте, ни в одной сводке за январь нет слова «зов».

Не потому, что кто-то скрывал. Просто никто ещё не понимал, что добровольные на вид уходы людей — части одного явления.

✱

Первую неделю января это была новость третьего разряда.

Геологическая служба сообщила о расширении зоны с аномальными характеристиками грунта. Район ограничен, работы приостановлены до весны, население ближайших посёлков — двести с чем-то человек — вывезено в качестве меры предосторожности.

Такие сообщения выходят регулярно: провалы, оползни, выбросы газа, старые захоронения химикатов. Мир к ним привык.

Первыми написали про это не учёные, а страховщики: региональное издание опубликовало заметку о том, что три компании приостановили страхование сельхозрисков в районе.

Потом — экологи. Потом местная политика: почему вывезли только эти посёлки, а вон те не вывезли.

К десятому января эта история была примерно на уровне «где-то провалилась земля, разбираются».

✱

Одиннадцатого января появился Патагонский очаг.

Официально — сообщение сейсмологической службы Аргентины о продолжающихся низкочастотных колебаниях без установленного источника и об ограничении доступа в район площадью около шестидесяти квадратных километров.

И вот тут первый раз щёлкнуло — не у людей, а у алгоритмов.

Новостные агрегаторы поставили африканскую и патагонскую истории рядом, потому что у них совпали ключевые слова: «зона», «ограничение доступа», «источник не установлен». Так работает машина: ей не нужно понимать, ей нужно совпадение.

За два дня это подхватили все.

К тринадцатому января я насчитал в лентах девять публикаций с заголовками вроде «Две аномальные зоны на разных континентах: совпадение?». Из них семь были в разделе «интересное», две — в науке.

Ни одна не связывала это с пропавшими людьми.



Про пропавших вообще долго не говорили, и я объясню почему, потому что это важно. Каждый случай был местным.

Девять человек в Западной Австралии — это дело австралийской полиции трёх посёлков. Четверо в Патагонии — дело провинциального управления. Люди, ушедшие из посёлков в Африке, вообще не считались пропавшими: их считали самостоятельно эвакуировавшимися из опасной зоны.

Ни у кого на планете не было причины сложить эти сводки в одну таблицу.

Полиция не сравнивает свои пропажи с чужими пропажами на другом континенте. Сейсмологи не читают полицейских сводок. Геологи не читают ни тех, ни других.

Я эту болезнь знаю хорошо. Она есть в любой большой конторе: у каждого отдела свои цифры, и каждый отдел прав, а сходится всё только у того, кто сидит с общей ведомостью.

В январе с общей ведомостью не сидел никто.

Кроме меня. Но у меня были только таблица из открытых источников, анонимное письмо и ни одной причины, по которой кто-то обязан был принять мои выводы всерьёз.



Восемнадцатого января сообщили о третьей зоне.

Западная Австралия. Формулировка отличалась: там говорили не про приборы, а про «изменение свойств грунта на площади около двух квадратных километров» и про то, что скот не идёт на эту территорию.

Про скот я перечитал трижды.

После возвращения животные обходили меня стороной: лошадь не подходила, собаки уходили с дороги, птицы не садились ближе двадцати шагов. Здесь животные обходили уже не человека, а место.

Это было первое сообщение, из которого человек, знающий, что искать, мог понять всё.

Но людей, знающих, что искать, в этом мире было двое.

Один сидел на кухне в панельном доме и мыл посуду по графику.

Вторая пока не видела новости.



Двадцатого января история сменила разряд.

Не из-за науки. Из-за видео.

Кто-то из вывезенных жителей африканского посёлка снял на телефон то, что осталось от их деревни: пустая улица, дома, и вокруг — серое.

Земля была серая.

Не выжженная, не вспаханная, не залитая — именно серая, ровная, будто присыпанная золой, и по ней шла граница: с одной стороны трава и пыль, с другой — эта корка.

Я смотрел это видео сорок минут подряд, пока не выучил каждый кадр.

Я знал эту корку. Я по ней шёл сто три дня. Я знал, как она звенит под сапогом, знал, что под ней в палец толщиной пыль, а под пылью — стекловидный чёрный слой.

Кассия увидела это видео случайно — через плечо, когда я его пересматривал в третий раз.

Она не спросила, что это.

Она постояла, посмотрела секунд десять и сказала:

— Останови.

Я остановил на кадре, где видна граница.

— Вот здесь, — сказала Кассия и показала пальцем. — Видишь, как ложится? Не насыпано сверху. Проросло снизу.

Потом ушла на кухню и минут двадцать чистила картошку, а я сидел и смотрел на остановленный кадр.

Она ни о чём меня не спросила. Ни в тот вечер, ни в следующий.

Женщина, которая сто три дня ходила по этой корке, увидела её на моём экране — и промолчала, потому что мы больше не разговаривали о том, что я делаю по ночам.

Видео посмотрели одиннадцать миллионов человек за двое суток.

Половина комментариев была про монтаж. Треть — про то, что это последствия испытаний. Остальные — шутки.

✱

Двадцать второго января пошли эксперты, и вот тут я впервые по-настоящему испугался. Не потому, что они говорили глупости. Наоборот.

Они говорили ровно то, что должны говорить компетентные люди при недостатке данных: осторожно, с оговорками, перечисляя возможные причины и ни одну не утверждая.

Геохимик объяснял, что подобная структура поверхности может возникать при выщелачивании определённых типов почв.

Геофизик говорил, что несогласованные показания магнитометров при таких грунтах не редкость.

Эпидемиолог, приглашённый зачем-то, сказал, что данных о вреде для здоровья нет.

Все они были правы по отдельности. Каждый отвечал за свой участок, каждый честно ограничивал ответ своей компетенцией — и именно поэтому никто не сказал вслух того, что видно, только если смотреть на всё сразу.

Я это уже видел. Так составляется отчёт, в котором все цифры верны и итог неправильный.

✱

К двадцать седьмому января очагов было четыре.

Африка. Патагония. Западная Австралия. Север Канады — этот появился двадцать седьмого, и там впервые прозвучало слово, от которого у меня похолодело.

Канадский геолог в интервью сказал: «Складывается впечатление, что процесс имеет центр».

Он имел в виду свою зону: что изменения идут от одной точки наружу.

Он не имел в виду ничего больше.

Но фраза «процесс имеет центр» ушла в заголовки, и в тот же вечер в сети появились первые карты с четырьмя точками.

Их рисовали любители. Соединяли линиями, искали фигуру, писали про сетку Хартмана, про разломы, про древние цивилизации.

Одна из этих любительских карт была почти правильной.

Я нашёл её двадцать восьмого января в комментариях под чужим постом: четыре точки, дуга, подпись «а вам не кажется, что они на одной линии?».

Под ней было одиннадцать ответов. Восемь смеялись. Двое объясняли, что через любые четыре точки можно провести кривую. Один спрашивал, где такое ещё бывает.

Я сидел и смотрел на этот фрагмент рисунка — четыре точки из семи, которые лежали у меня в тетради уже полтора месяца.

И подумал единственное, что мог подумать.

Что человечество узнает правду не от учёных и не от разведок.

Его узнает какой-нибудь парень из комментариев. И ему не поверят.

✱

Тридцатого января вышел первый серьёзный материал.

Большое издание, научный отдел, три автора, две недели работы. Заголовок без сенсации: «Четыре зоны: что известно и что неизвестно».

Материал был честный. Там были собраны все данные, все версии и все опровержения версий. Там впервые в одном тексте стояли рядом четыре очага и — отдельным абзацем, осторожно — упоминание о случаях исчезновения людей вблизи двух из них.

Авторы не делали вывода. Они прямо писали, что связи между зонами не установлено и что каждая может иметь собственную природу.

Это была лучшая журналистская работа января и абсолютно правильная по методу.

И она опоздала.

Пока её писали две недели, появился пятый очаг.

✱

Тридцать первого января, вечером, Мира снова вошла на кухню с телефоном.

Она не спросила «ты видел». Она села напротив и положила телефон экраном ко мне.

— Пятая, — сказала она. — В Прибайкалье.

Я посмотрел на экран.

Прибайкалье — это не Африка и не Патагония. Это пять с лишним часов лёту. Это школьная география Лео. Это место, куда её отдел ездил на корпоратив в позапрошлом году.

— Адам, — сказала Мира.

— Да.

— Ты знал.

Я поднял на неё глаза.

Она смотрела на меня — спокойно, не обвиняя, тем самым взглядом, которым семь лет назад читала мои отчёты и находила в них то, чего я не дописывал.

— Ты знал раньше, — сказала она. — Ещё до Нового года. Я не спрашиваю почему ты молчал. Я спрашиваю: сколько ты знаешь.

Я встал, вышел в комнату и вернулся с тетрадью.

Положил её на стол между нами.

— Я начал седьмого декабря, — сказал я. — Всё здесь. Позови Кассию.

Глава 19. Семь

Кассия пришла из своей комнаты, посмотрела на тетрадь, на Миру, на меня и села.

— Наконец-то, — сказала она.

Не «что случилось». Не «что это». Именно так: наконец-то.

— Ты знала? — спросила Мира.

— Я знала, что он что-то делает по ночам, — сказала Кассия. — Знала, что прячет. Знала с середины декабря. Что именно — нет.

— И молчала?

— Молчала, — сказала Кассия. — У нас был уговор: ничего важного друг от друга не скрывать. Он его нарушил. Я ждала, когда он сам вспомнит.

Она посмотрела на меня.

— Ты вспомнил на два месяца позже, чем надо, — сказала она. — Но вспомнил. Открывай.

✱

Я разбирал тетрадь час.

Начал с двадцать шестого ноября — с трёх рывков ночью. Само расследование началось седьмого декабря. Дальше пошёл по порядку: попытки объяснить это остаточным, компас, стрелка, которая не отклонилась ни на одно деление, первое сообщение из Африки, статистика за пять лет, семь необъяснённых аномалий, четыре группы уходов, направления, пеленги, снимки по неделям, растущее пятно, координаты, два письма от двадцать первого декабря, бюллетень от тридцатого.

И карта с семью точками.

Мира слушала, как слушают отчёт: не перебивая, делая пометки на полях моего же листа. Кассия слушала, как слушают доклад разведчика: глядя не на бумагу, а на меня.

Лео спал.

Про Лео мы договорились сразу, в первую же минуту: сегодня без него. Не потому, что скрываем, — потому что взрослым сначала надо самим понять, что они друг другу говорят.

Когда я закончил, Мира отложила ручку.

— Дай сформулирую, — сказала она. — Я хочу убедиться, что поняла.

И сформулировала. За две минуты, своими словами, без единой ошибки.

Есть семь подозрительных точек. В пяти уже официально подтвердили аномальные зоны. По крайней мере в одной земля стала такой же, как та, по которой они шли. Рядом с несколькими местами исчезают люди. Один из очагов растёт. Точки лежат на одной дуге. Дуга не закончена.

— Правильно? — спросила она.

— Правильно.

— Теперь скажи то, чего ты не сказал.

✱

Я молчал секунд десять.

— Я думаю, что это из-за меня, — сказал я.

Мира не шевельнулась. Кассия — тоже.

— Объясняй, — сказала Мира.

— В мёртвой земле от семени шла нить, — сказал я. — Не верёвка, не сигнал: связь. Она уходила туда, откуда его когда-то бросили. Когда я взял семя в себя, эта нить пошла со мной. Я почувствовал, как она натянулась в момент шага в дверь.

— Ты говорил.

— Говорил, — сказал я. — А теперь считай дальше. Двадцать шестого ноября её кто-то дёрнул. Три раза, ровно, с равными промежутками — так проверяют, держит ли линия. Через одиннадцать дней я нашёл первую аномалию. Ещё через неделю у меня было семь возможных точек.

Я положил ладони на стол.

— Когда я вышел из воронки, нить осталась со мной. Четырнадцатого октября я принёс её сюда. — Я посмотрел на них. — Я не думаю, что это совпадение. Я принёс адрес.

Тишина стояла долго.

Потом Кассия сказала:

— Это не факт. Это версия.

— Кассия...

— Молчи, — сказала она. — Я тебе скажу, как это выглядит с моей стороны. Ты два месяца разбирался с этим один. Человек, который так долго думает один, всегда приходит к тому, что во всём виноват он. Я это видела на фронтире у каждого второго командира, потерявшего людей.

Она наклонилась вперёд.

— Может, ты и прав. Может, ты действительно принёс. Но ты этого не знаешь, и я тебе не дам говорить об этом как о знании. Особенно при мальчике.

— Согласна, — сказала Мира.

✱

Дальше был разбор, и вела его Мира.

Она взяла чистый лист и написала сверху три слова: «знаем», «предполагаем», «не знаем».

— Так, — сказала она. — Раскладываем. Всё, что ты рассказал, идёт в один из трёх столбцов, и никуда больше.

Мы сидели до половины третьего ночи.

В «знаем» ушло немного.

Семь точек с разными необъяснёнными аномалиями. В пяти точках зоны уже подтверждены официально. Один очаг растёт на полкилометра в месяц — это по снимкам, это проверено. Люди уходят и не возвращаются — это по полицейским сводкам. Дуга — это геометрия, её можно перепроверить. Нить дёрнулась трижды в ноябре — это ощущение Адама, но оно записано по времени ещё до официального подтверждения большинства зон.

В «предполагаем» — почти всё остальное.

Что это зёрна. Что они одной природы с тем, которое он съел. Что уходы связаны с очагами. Что дуга означает намеренный посев. Что нить привела кого-то сюда.

В «не знаем» — самое важное.

Кто. Зачем. Что дальше. Сколько ещё будет. Можно ли что-то сделать. И — отдельной строкой, рукой Миры — «связано ли это с Адамом или он оказался рядом».

— Вот на это и будем смотреть, — сказала Мира, откладывая лист. — И каждый раз, когда что-то переходит из третьего столбца во второй или из второго в первый, мы садимся и переписываем.

Так у нас появился второй лист на холодильнике.

Первый — правила. Второй — три столбца.

✱

В три часа ночи мы дошли до вопроса, ради которого всё это и было.

— Что делаем? — спросила Мира.

И вот тут выяснилось, что мы трое хотим совершенно разного.

Я хотел сообщить. Не анонимно, как в декабре, а по-настоящему: прийти, назвать себя, показать тетрадь, дать себя проверить. У меня был единственный аргумент, и он был сильный:

я знаю, чем это кончается. Я видел поле с семьюдесятью четырьмя, круги на склонах и семь тысяч, идущих по насту. Никто на планете этого не видел.

Кассия была против.

— Что ты им скажешь? — спросила она. — «Я был в другом мире, во мне сидит семя, у меня внутри тикает»? Тебя запрут. Не по злобе — потому что так надо: человек говорит невероятное, значит, его надо изучить. Тебя посадят в комнату, и через неделю ты станешь для них не человеком, который знает, а образцом, который нужно понять.

— У меня есть тетрадь.

— У тебя есть тетрадь, — согласилась Кассия. — Пусть тетрадь и идёт. А ты останься дома.

Мира была против обоих.

— Никуда ты сейчас не пойдёшь, — сказала она. — И не потому, что я тебя берегу. По другой причине.

Она загнула палец.

— Первое. Предварительное заседание в декабре ничего не решило, основное назначили на пятнадцатое февраля. Если ты сейчас пойдёшь с этим в ведомства, начнутся дополнительные проверки, запросы и экспертизы. Суд могут отложить. Я не хочу рисковать процессом, который должен вернуть тебе имя.

Второй палец.

— Второе. Ты сам всю зиму говорил: доказательств нет, есть рисунок. Так вот, у тебя их и правда нет. У тебя есть таблица, составленная человеком без профильного образования, без института за спиной и без документов.

Третий.

— И третье. Подожди две недели.

— Почему две?

— Потому что за две недели, — сказала Мира, — либо подтвердят зону в одной из двух оставшихся точек, отмеченных тобой шестнадцатого декабря, либо нет. Если подтвердят и координаты совпадут — твоя дуга перестанет быть рисунком: ты назвал место заранее. Это уже прогноз. Тогда тебя будут слушать. А если не подтвердят — значит, ты ошибся, и хорошо, что не побежал.

Я сидел и смотрел на неё.

Это было ровно то, что сделал бы я сам, если бы не был внутри своей истории. Проверяемое предсказание. Единственное, что отличает знание от догадки.

— Хорошо, — сказал я. — Две недели.

✱

Дальше пошёл февраль, и он был самый тяжёлый месяц той зимы.

Не из-за очагов. Из-за ожидания.

Я жил в двух режимах сразу. Днём — суд, справки, работа с чужой бухгалтерией, уроки с Лео, ужин в семь. Ночью — тетрадь и лента новостей.

Мира завела правило: тетрадь только после того, как Лео уснёт, и не дольше двух часов. Кассия следила за исполнением молча и очень действенно: в половине первого она просто приходила и садилась рядом. Не говорила ничего. Сидела.

Я сдавался через десять минут.

— Ты хуже надзирателя, — сказал я ей однажды.

— Я и есть надзиратель, — сказала Кассия. — Только тебя стерегу не от них, а от тебя.

✱

Восьмого февраля официально подтвердили шестой очаг.

Юго-восточная Азия, горный район на границе двух стран. Формулировка та же: изменение свойств грунта, ограничение доступа, работы приостановлены.

Я открыл карту и посмотрел.

Точка легла на дугу.

Не идеально — с отклонением километров в сорок, что на таких расстояниях меньше процента. И промежуток от предыдущей был тот же, что между всеми остальными.

Я позвал Миру.

Она посмотрела на карту, потом на мою тетрадь от шестнадцатого декабря, где эта дуга была нарисована за восемь недель до официального обнаружения зоны.

— Ага, — сказала она.

И ушла в комнату, и я слышал, как она там ходит из угла в угол минут двадцать.

✱

Двенадцатого февраля подтвердили седьмой.

Юго-запад Северной Америки, пустынный район. Ограничение доступа, эвакуация двух посёлков, изменение свойств грунта.

Он тоже лёг на дугу.

И в тот же день в сводках прошло сообщение, на которое тогда никто не обратил внимания, включая меня.

Все шесть подтверждённых ранее зон одновременно изменили ритм. Не выросли скачком, не выбросили ничего — просто у всех шести в один день сбилась и заново установилась скорость роста.

В сводке это объяснили одной строкой: «явления имеют общую природу».

Я прочёл, согласился и пошёл дальше.

Я сидел на кухне с картой и линейкой и уже не чувствовал ничего похожего на торжество. Семь точек.

Они шли по планете длинной пологой линией через пять континентов, с промежутками, отличающимися меньше чем на десять процентов, в той последовательности, в какой их обнаруживали: от первого сообщения в сентябре до последнего подтверждения в феврале.

Не разбросаны. Не в узлах разломов. Не там, где что-нибудь бывает.

По борозде.

Так сеют.

✱

Пятнадцатого февраля утром состоялось заседание.

Оно шло девятнадцать минут.

Судья задал одиннадцать вопросов, из которых десять были формальные. Одиннадцатый был: «Где вы находились всё это время?»

Я ответил, как учила юрист: не помню обстоятельств, восстановление памяти частичное, документов нет.

Судья посмотрел на меня поверх очков — так же, как смотрела юрист в первый день, — и ничего не сказал.

Заявление удовлетворили. Запись о смерти подлежит аннулированию.

Мы вышли на улицу, и Мира сказала:

— Примерно через месяц решение вступит в силу, если его никто не обжалует. Потом ЗАГС и паспорт.

Я стоял на ступенях суда, в феврале, — человек, которого суд постановил вернуть в число живых.

И считал в уме не месяцы до паспорта.

Я считал, что двух недель, о которых мы договорились, больше нет. Что дуга закрылась. Что предсказание сбылось дважды подряд.

И что теперь я имею право идти.

✱

Вечером мы сели вчетвером.

Лео позвали сами — впервые. Так и договорились ещё в январе: когда взрослые перестанут спорить между собой, мальчик садится за стол вместе с ними.

Он выслушал всё. Я рассказывал сорок минут, без цифр про себя, но с картой.

Он смотрел на семь точек и молчал.

Потом спросил единственное, что спросил за весь вечер:

— А восьмая где будет?

Мы переглянулись — все трое.

— Мы не знаем, — сказал я.

— Но она будет?

— Наверное.

Лео взял линейку — мою, со стола, — приложил её к карте и провёл пальцем вдоль дуги дальше, за последнюю точку.

— Ну так посчитайте, — сказал он.

Глава 20. Армия

— Ну так посчитайте, — сказал Лео.

Мы посчитали. Не в тот же вечер, конечно. В тот вечер мы ещё два часа двигали линейку по карте, спорили о проекции и пытались продолжить дугу на бумаге, которая для этого не годилась. Потом Мира посмотрела на часы, сказала, что завтра школа, а конец света не является уважительной причиной для опоздания на математику, и отправила Лео спать.

Он ушёл недовольный, но у самой двери всё-таки обернулся:

— Если найдёте без меня, это нечестно.

— Не найдём, — ответила Мира.

— Почему?

— Потому что твой отец уже полтора месяца смотрит на эту карту и не нашёл.

— Спасибо, — сказал я.

— Пожалуйста.

Лео ушёл, и мы остались втроём. Кассия сидела у окна, поджав одну ногу, и рассматривала семь точек так, будто это были следы вокруг ночного лагеря. Она уже достаточно хорошо читала по-русски, чтобы разбирать названия стран, но длинные подписи всё ещё произносила по слогам.

— Се-ве-ро-за-пад-ная Аф-ри-ка, — сказала она, медленно двигая пальцем от точки к точке. — Па-та-го-ни-я. Ав-стра-ли-я. Ка-на-да. При-бай-каль-е. Эти две.

Она коснулась последних отметок.

— Горы в Азии и пустыня в Северной Америке, — сказал я.

— Семь, — повторила Кассия. — И мальчик прав. Если шаг одинаковый, следующий можно найти.

— На плоской карте нельзя.

— Значит, нужна круглая.

Мира подняла глаза от тетради.

— Глобус?

— Или нормальная программа, — сказал я. — С координатами и расстояниями по сфере.

— У тебя есть координаты?

— Для пяти — достаточно точные. Для двух последних пока только районы.

— Значит, пока не посчитаем, — сказала Мира.

Она не сказала «не получится». Она сказала «пока». За четыре месяца дома я успел вспомнить, насколько это важное слово.

✱

На следующий день армия вошла в Прибайкальский очаг, хотя узнали мы об этом не сразу.

В официальных новостях говорили о расширении зоны ограничения доступа и о переводе ближайших населённых пунктов на обязательную эвакуацию. О военных не было ни слова. На кадрах показывали автобусы, людей с сумками, заснеженную дорогу и полицейские машины на перекрёстках. Военные появились в сети только вечером.

Кто-то снял колонну из окна автобуса: четыре грузовика, две машины связи, санитарный автомобиль и три бронемашин без опознавательных знаков. Видео длилось двадцать семь секунд. Колонна шла в противоположную от эвакуации сторону.

В комментариях спорили, зачем там броня. Кто-то писал про учения, кто-то — про химическое заражение. Кто-то уверял, что в зоне упал спутник. Один человек написал, что власти наконец решили взорвать всё к чёрту, и получил больше всех одобрений.

Я посмотрел запись семь раз. На шестом просмотре Кассия села рядом.

— Они идут внутрь, — сказала она.
— Да.
— Сколько?
— На видео около пятидесяти. Может, больше.
— Верёвки есть?
— Не знаю.
— Пары?
— Не видно.
— Кто следит за глазами?
— Кассия, это армия. У них свой порядок.
Она посмотрела на меня долгим взглядом.
— У нас тоже был свой порядок.
И больше ничего не сказала.

✱

Полную запись той операции я увидел позже, когда мне уже разрешили читать материалы с красной полосой наверху и оставлять карандашные пометки на копиях. Поэтому дальше я расскажу не только то, что мы знали в тот вечер. Расскажу, как всё происходило на самом деле.

В зону вошли сорок восемь человек. Не батальон, как потом писали, а сводная группа: военные инженеры, связисты, специалисты радиационной и химической разведки, два геолога, врач и охрана. Командовал ими майор Арсений Леонов, тридцать девять лет, четыре командировки, ни одного взыскания за всю службу.

Я запомнил эту строчку из его дела, потому что она объясняла почти всё последующее. Леонов не был человеком, который полез неизвестно куда ради красивого доклада. Он готовился.

На внешнем периметре оставили резерв. Каждой машине дали два независимых канала связи. У каждого человека были механические часы, компас, бумажная карта и карточка с контрольными вопросами. Они взяли тросы, маяки, химические метки, запас топлива и еды на трое суток, хотя операция должна была занять шесть часов.

Они предусмотрели отказ техники. Не предусмотрели только одного: техника будет ошибаться не одновременно.

✱

До границы серой земли было двадцать три километра. Первые восемь колонна прошла нормально: связь держалась, спутниковая навигация давала погрешность в пять–семь метров, температура соответствовала прогнозу, люди отвечали на переключку каждые три минуты.

На девятом километре один из компасов показал север на одиннадцать градусов правее. Его заменили. На десятом второй показал север на семь градусов левее, третий — правильно, а четвёртый начал медленно вращаться.

Леонов остановил колонну и приказал сверить часы. Разница составляла четыре секунды — обычная разница, часы не обязаны идти совершенно одинаково. Через три километра она выросла до сорока семи секунд.

Причём отставали не все часы одной группы. У двоих механические ушли вперёд, у троих электронные отстали, часы в первой машине показывали правильное время по внешнему сигналу, а камера на её борту записывала события с задержкой в девять минут.

Они снова остановились. На записи видно, как Леонов стоит посреди дороги, держит в одной руке три пары часов и спокойно отдаёт команды. Никто не кричит, никто не бежит. Люди работают так, как их учили: проверяют приборы, меняют батареи, записывают расхождения.

Они всё делали правильно. Для мира, в котором находились до этого дня.

✱

В четырнадцати километрах от периметра колонна разделилась. Это произошло на прямой дороге, где не было ни развилки, ни поворота, ни плохой видимости. Первый грузовик, машина связи и две бронемшины поехали дальше. Остальные остановились.

Люди в первой группе были уверены, что вторая свернула направо. Люди во второй — что первая свернула налево. На обеих видеозаписях дорога оставалась прямой.

Позже специалисты накладывали кадры один на другой, проверяли рельеф, искали монтаж, пропуски и воздействие на оптику. Дорога совпадала до каждого дерева. В одну и ту же минуту две группы стояли на одном участке и не видели друг друга, хотя связь между ними продолжала работать.

— Первая, где вы? — спросил Леонов.

— На маршруте, удаление четырнадцать, — ответил старший первой группы.

— Визуальный контакт потерян.

— Подтверждаю. Вы ушли вправо за посадку.

Леонов повернул камеру. Справа не было посадки — только поле, редкие деревья и белая дорога до горизонта.

— Посадки нет, — сказал он.

— Стоите за ней. Вижу верх антенны.

— Назовите время.

Они назвали. Разница составляла одиннадцать минут.

Это был момент, когда операцию следовало прекратить, и Леонов так и сделал. Он приказал обеим группам развернуться и двигаться обратно строго по собственным следам: не искать друг друга, не сокращать расстояние, не принимать решений без подтверждения с внешнего периметра.

Приказ получили все. Выполнили не все.

✱

Первым ушёл связист из второй группы. Он просто снял наушники, положил их на капот и пошёл с дороги в поле. Товарищ догнал его через двадцать метров и спросил, куда он идёт.

— Домой, — ответил связист.

— Дом в другой стороне.

— Нет, — сказал он. — Мама зовёт.

Ему было тридцать два. Его мать умерла пять лет назад.

Он не сопротивлялся, когда его повели обратно, и не спорил. Только всё время оборачивался и просил подождать минуту, потому что мать стоит совсем близко и босиком по снегу ей холодно.

Через семь минут идти начали ещё трое, и у каждого была своя причина. Один видел свет в окне дома, которого не могло быть в пустом поле. Второй слышал дочь. Третий ничего не объяснял — просто повторял, что опаздывает и его давно ждут. Их удержали.

Тогда зов изменился. Он перестал обращаться к людям по одному.

На записи одновременно замолчали семнадцать человек. Не сговорившись, не по команде. Они стояли в разных местах, в двух не видящих друг друга группах, и смотрели в одну сторону — на северо-восток, к центру очага.

Потом первый сделал шаг. За ним второй.

Леонов ударил кулаком по крыше машины и крикнул:

— Всем назвать себя!

Никто не ответил.

— Имя, звание, сегодняшняя дата! По порядку!

Первым отозвался водитель рядом с ним, потом врач, потом ещё двое. Те, кто произнёс имя вслух, остановились. Не все, но большинство.

Леонов понял это за несколько секунд и повторил приказ уже не как командир, а как человек, который нашёл единственную работающую кнопку:

— Говорить без остановки! Имя! Где находитесь! Куда идёте! С кем идёте! Соседа держать за руку!

В сорока восьми гарнитурах люди начали говорить одновременно. Это звучало нелепо.

В отчёте потом напишут: «Непрерывная вербализация личных данных частично снижала воздействие». На записи это звучало иначе. Сорок восемь взрослых людей шли по снегу и повторяли, кто они такие, потому что молчать было страшнее.

✱

На внешнем периметре их ждали шесть часов. Первая группа вышла через два, вторая — через пять.

Из сорока восьми вернулись сорок четыре. Четверых не нашли.

Трое из вернувшихся не узнавали людей, с которыми вошли в зону. Один был уверен, что отсутствовал несколько недель, хотя по его часам прошло девятнадцать минут. Ни у кого не было признаков отравления, облучения или инфекции. Анализы были нормальными, снимки — тоже. Только люди не сходились сами с собой.

На следующий день один из них пришёл в норму. Двое продолжали спрашивать, почему на улице зима, если они входили в зону летом.

Официальное сообщение назвали «временной дезориентацией у части участников исследовательской операции». Формально это не было ложью. Я всё больше ненавидел формально правдивые слова.

✱

Запись с людьми, называющими свои имена, попала в сеть ночью двадцатого февраля. Без начала и конца. Сорок три секунды дрожащего изображения: заснеженная дорога, машины, голоса в эфире.

«Старший лейтенант Воронцов. Тридцать один год. Иду к внешнему периметру».

«Ефрейтор Климов. Двадцать четыре. Держу Синицына».

«Врач Королёва. Сегодня двадцатое февраля. Мы возвращаемся».

Ролик назвали постановкой, потом удалили, а затем он появился снова в сотне мест.

Мира разбудила меня в половине второго. Я уснул на табуретах и не услышал телефон.

— Посмотри, — сказала она.

Я посмотрел. На двадцатой секунде Кассия вышла из комнаты. Она спала чутко и просыпалась от шёпота за стеной. Мира включила запись сначала, и Кассия досмотрела её до конца.

— Поздно начали, — сказала она.

— Что?

— Говорить. Они начали, когда половина уже услышала. Надо раньше.

Она забрала у Миры телефон, отмотала запись и показала на двух людей у задней машины.

— Этот держит того, которого знает. Правильно. А этот держит первого, кто рядом. Неправильно.

— Почему?

— Потому что если рядом будет не тот, он не поймёт.

Мира посмотрела на меня.

— О чём она?

— В мёртвой земле мы ходили связками, — сказал я. — Не просто по двое. Каждый знал, кого проверяет и кто проверяет его. Одни и те же люди. Если менялось поведение, это замечали.

— Почему ты раньше этого не написал?

Я открыл рот и закрыл. Потому что никто не спрашивал — был плохой ответ. Потому что я не знал, кому писать, — тоже.

На столе лежала тетрадь с семью точками, двумя подтверждёнными предсказаниями и датами писем. У меня уже не было права говорить, что я не знал, кому.

— Напишу сейчас, — сказал я.

✱

Мы составляли правила до утра. Кассия говорила, я записывал, Мира переводила её короткие фразы на язык, который нельзя понять двояко.

Первое: входить постоянными группами по четыре человека и не менять состав внутри зоны.

Второе: перед входом каждый называет три личных факта, которые знают остальные трое и которые можно проверить сразу.

Третье: переключка каждую минуту, а не каждые три.

Четвёртое: никто не идёт на голос, свет, запах или знакомый образ, если его не подтверждают двое.

Пятое: при расхождении времени ничего не выяснять на месте. Считать сам факт расхождения сигналом опасности и немедленно возвращаться.

Шестое: не искать пропавшего глубже той точки, где потерял контакт. Отправленная следом группа станет второй пропавшей группой.

На шестом правиле Мира остановилась.

— Это они не примут, — сказала она.

— Значит, потеряют больше, — ответила Кассия.

— Я не говорю, что правило неправильное. Я говорю, что его нельзя написать так. Людям предлагают оставить своих.

Кассия долго подбирала слова.

— Не оставить, — сказала она наконец. — Не отдать ещё четверых за одним. Вернуться. Думать. Идти снова с другим способом.

Мира переписала.

Седьмое правило добавил я: не молчать ни при каких обстоятельствах. Пока человек говорит, он вынужден помнить, кому говорит и зачем. В мёртвой земле это работало не всегда, но там «не всегда» было лучше, чем ничего.

Получилось две страницы. Я приложил их к тому же анонимному адресу, с которого писал геофизикам в декабре. В теме указал дату их операции, число вошедших и число вернувшихся — сорок восемь и сорок четыре. Эти цифры официально не публиковали.

В самом письме написал: «Вы начали говорить слишком поздно. Следующая группа должна говорить до первого шага».

И отправил.

✱

Утром Лео нашёл нас на кухне. Мира собиралась на работу, хотя почти не спала. Кассия делала чай. Я сидел перед закрытым ноутбуком.

— Вы посчитали? — спросил он вместо приветствия.

— Нет, — сказал я.

— Вообще ничего?

— Посчитали другое.

Я рассказал ему про операцию без пропавших людей и без подробностей, которые ему не нужны. Сказал, что взрослые вошли туда с неправильными правилами и теперь у следующих будут правила получше.

Лео нахмурился.

— Они глупые?

— Нет.

— Но сделали неправильно.

— Потому что не знали, как правильно. Это не одно и то же.

Он немного подумал.

— А ты знаешь?

— Немного.

— Тогда почему ты не пошёл с ними?

На кухне стало тихо. Мира застегнула сумку и поставила её обратно на стул. Кассия перестала наливать воду.

Лео смотрел на меня и ждал ответа. После подарка на день рождения он стал делать это иначе: не отпуская вопрос, пока не понимал, что получил правду.

— Потому что они пока не знают, кто я, — сказал я.

— Так скажи.

— Если скажу, назад уже не заберу.

— А зачем забирать?

Я не нашёл ответа сразу. Мальчик сел напротив.

— Ты всё время говоришь, что надо считать, — сказал он. — А сам считаешь только плохое. Что тебя посадят. Что не поверят. Что заберут. А если поверят?

Мира закрыла глаза — ненадолго, всего на секунду. Потом открыла и посмотрела на меня.

— Он твой, — сказала она.

— Я заметил.

— Нет, — сказала Мира. — Не заметил. Теперь заметил.

✱

Ответ на письмо пришёл через девять часов. Не автоматический. В нём было четыре строки:

«Ваши рекомендации получены. Укажите источник сведений о составе группы и результатах операции. Укажите источник предложенных протоколов. Предложите безопасный способ связи».

Подписи не было.

Я прочёл письмо Мира, потом Кассии.

— Это те, кто послал людей? — спросила Кассия.

— Думаю, да.

— Они придут?

— Если отвечу — придут.

— Хорошо.

— Почему хорошо?

Она поставила кружку на стол.

— Потому что сорок восемь вошли без нас, — сказала Кассия. — Следующие войдут с нами.

Я посмотрел на экран. В груди ровно отсчитывало чужое сердце. Нить молчала, но теперь это молчание уже не казалось пустым. Кто-то на другом конце ждал, когда я снова потяну, а кто-то на этом впервые спросил, откуда я знаю.

Я открыл новое письмо и написал: «Безопасный способ связи — личная встреча. Приду не один».

Перед отправкой показал Мира. Она прочла, кивнула и сказала:

— Добавь время, когда Лео будет в школе.

— Почему?

— Потому что если они решат забрать тебя прямо со встречи, я хочу успеть забрать сына первой.

Я добавил. И только тогда нажал «отправить».

✱✱

Позже, уже получив материалы операции целиком, я увидел ещё одну цифру. Она стояла в приложении к отчёту, между таблицей расхождения часов и перечнем отказавших приборов. Небольшая строка, которую легко пропустить.

В 19:43 по местному времени — в ту минуту, когда Леонов приказал людям назвать себя, — частота низкочастотных колебаний изменилась не только в Прибайкалье. Она изменилась во всех семи очагах. Одинаково.

На другом конце планеты приборы ещё не знали, что происходит в снегу возле Байкала. Люди тоже не знали.

А сеть знала.

Армия вошла в один очаг.

И что-то посмотрело на неё сразу из семи.

Глава 21. Карта уходов

Ответ пришёл через сорок минут:

«Четвёртое марта. 16:00. Место сообщим отдельно. Допускается присутствие двух сопровождающих. До встречи просим не предпринимать поездок к зонам и не публиковать имеющиеся сведения».

Я прочёл письмо дважды.

— Двух сопровождающих, — сказала Мира. — Удобно.

— Почему?

— Потому что нас как раз двое.

Кассия стояла у плиты и пыталась понять разницу между словами «сопровождающий» и «свидетель». Лео учил её русскому по десять слов в день, но государство разговаривало словами, которых в его списках не было.

— Они разрешили нам идти? — спросила она.

— Да.

— А если бы не разрешили?

— Всё равно пошли бы, — сказала Мира.

Кассия кивнула. В этот момент они поняли друг друга без перевода.

До встречи оставалось двенадцать дней, и я решил потратить их на карту.

✱

Карта уходов появилась не у меня. Первую опубликовала группа добровольцев, которая до очагов занималась поиском пропавших людей. Обычное сетевое сообщество: фотографии, ориентировки, последние маршруты, телефоны горячих линий. Когда пропавших вокруг зон стало слишком много, они собрали всё в одну таблицу.

Сто восемьдесят три человека. Это число разошлось по новостям двадцать второго февраля.

Восемьдесят один человек пропал возле африканского очага, тридцать четыре — в Австралии, девятнадцать — в Патагонии. Остальные распределялись между Канадой, Прибайкалем, Юго-Восточной Азией и пустыней Северной Америки.

Таблица выглядела убедительно и была почти бесполезной. Туда попали все: люди, ушедшие из дома ночью; туристы, не вернувшиеся с маршрута; водитель, бросивший машину; двое детей, которых нашли у родственников через три дня; мужчина, сбежавший от долгов; женщина, сменившая имя ещё до появления первого очага.

Сто восемьдесят три истории не складывались в закономерность. Они складывались в страх. Новости так и подали: «Очаги забирают людей».

Я скачал таблицу и начал вычёркивать.

✱

Мира увидела это утром.

— Ты опять удаляешь доказательства? — спросила она.

— Удаляю то, что ими не является.

— Сколько осталось?

— Пока шестьдесят четыре.

— Из ста восьмидесяти трёх?

— И будет меньше.

Она поставила рядом со мной чай.

— Объясни.

— Чтобы считать направление, нужно знать хотя бы две точки: откуда человек вышел и где его видели потом. Если есть только дом и факт исчезновения, направления нет. Если

человек пропал в ста километрах от очага, это ещё не значит, что он шёл к нему. Люди пропадали и раньше.

— Но эти случаи могут быть связаны.

— Могут. Только я не имею права использовать их для расчёта.

— Почему?

— Потому что тогда получится именно то, что я хочу получить.

Мира посмотрела на экран.

— Ты вычеркнул детей.

— Их нашли.

— Через три дня.

— У бабушки. Они уехали к ней на автобусе. Билет куплен с карты старшего. К очагу это не имеет отношения.

— Хорошо, — сказала она. — А этот?

Она показала на строку: мужчина, сорок семь лет, машина найдена на дороге, телефон отключился через два часа.

— Оставил, — сказал я. — Есть камера на заправке. Видно направление.

— Этот?

— Убрал. Только слова соседки, что он «последние дни был странный». Странный — не направление.

— А этот?

Так мы просидели сорок минут. Мира собиралась на работу и опоздала на двадцать три минуты. Перед уходом она сказала:

— Не трогай колонку «источник». Вечером проверю всё, что на русском.

— У тебя своя работа.

— Теперь и это моя.

Она надела пальто и ушла. Я посмотрел на таблицу, а потом добавил новый столбец: «Проверено Мирой».

❖

К двадцать четвёртому февраля осталось сорок два случая. Не человека — случая. В одном уходили сразу трое, в другом — девять. Всего в проверенной выборке было семьдесят шесть человек.

Для каждого случая я выписал всё, что можно было считать точкой: дом, последнюю камеру, брошенную машину, место найденной одежды, показания свидетеля с указанием дороги, последний сигнал телефона. Точных направлений получилось двадцать восемь, ещё девять были приблизительными. Пять не давали направления, но подтверждали сам способ: человек покидал дом добровольно, не брал вещи, не снимал деньги и не пытался скрыться.

Я нанёс двадцать восемь линий на карту и сразу увидел, что они не шли в одну сторону. В Австралии люди двигались на северо-восток, в Патагонии — на запад и северо-запад. Возле Прибайкалья направления расходились в зависимости от посёлка: кто-то шёл на юг, кто-то на восток. В Канаде два человека двигались почти строго на север.

Никакого общего востока. Никакой одной точки на планете.

Если смотреть на стрелки вместе, получался беспорядок. Если смотреть на них по регионам, беспорядок исчезал: каждая группа линий сходилась к своему очагу.

❖

Я проверил это тем же способом, каким проверял семь точек в декабре. Сначала попытался доказать, что ошибаюсь.

Взял десять случайных направлений обычных исчезновений за предыдущие пять лет и наложил на карту. Они не сходились никуда. Люди ехали вдоль дорог, к вокзалам, в соседние города, к воде, в горы — туда, куда обычно идут люди по своим причинам.

Потом повернул направления наших двадцати восьми случаев на десять градусов вправо — сходимость развалилась. Повернул на десять влево — то же самое. Убрал по одному самому удобному случаю из каждого региона — картина сохранилась. Убрал все приблизительные направления и оставил только камеры и сигналы телефонов — картина стала беднее, но не исчезла.

В каждой части мира люди двигались к ближайшей действующей точке.

Я записал формулу настолько простую, что мне стало стыдно за то, сколько времени я к ней шёл: «Человек → ближайший очаг». Потом приписал: «Не по дороге. По прямой».

Машина могла ехать по трассе, огибая гору или озеро. Но когда человек её бросал, дальше он шёл так, будто видел направление сквозь рельеф. В Австралии двое свернули с дороги в пустыню, хотя до очага по трассе было короче и безопаснее. В Патагонии группа пересекла долину вместо того, чтобы идти по туристической тропе. Возле Прибайкалья один мужчина оставил машину на расчищенной дороге и пошёл через лес, потому что прямая линия проходила там.

Они не выбирали маршрут. Им давали направление.

✱

Кассия поняла раньше, чем я успел объяснить. Я разложил перед ней карту и показал стрелки. Она долго смотрела, затем взяла карандаш и обвела один из очагов кругом.

— Это колодец, — сказала она.

— Не совсем.

— Не тот Колодец. Обычный. Вода.

Она нарисовала вокруг круга несколько коротких линий.

— Если семь колодцев, человек идёт к тому, который ближе. Не потому что выбирает. Потому что верёвка короче.

— Какая верёвка?

— Зов.

— У каждого своя?

Кассия пожала плечами.

— Может, одна. Но тянет через ближайшее отверстие.

Я посмотрел на карту: семь отверстий и одна сила за ними. Это пока было только образом, не доказательством, но образ оказался полезным.

Если зов шёл не от каждого очага отдельно, а через них из одного источника, синхронное изменение всех семи зон во время операции у Байкала переставало быть странностью.

Одна верёвка. Семь колец, через которые её протянули.

✱

Вечером Лео увидел карту на столе.

— Вы посчитали без меня, — сказал он.

— Не восьмую точку, — ответил я. — Другое.

— Что?

Я показал стрелки. Он сел рядом, внимательно посмотрел и сказал:

— Они как районы школ.

— Что?

— Ну когда тебя прикрепляют к ближайшей школе, — сказал Лео. — У нас на сайте карта есть. Вот дом тут — идёшь в эту. А через дорогу уже в другую. Потому что граница.

Я придвинул карту.

— Повтори.

— Опять?

— Да.

— У каждой школы свой район, — сказал он. — Если живёшь внутри, тебя берут туда. Если на другой стороне улицы — в другую.

Я открыл чистый слой в программе и начал проводить границы — не вокруг очагов, а между ними. Точки, равноудалённые от двух соседних зон. Линии, по разные стороны которых ближайший очаг меняется. Получалось семь огромных областей, разрезавших планету не по странам, морям и континентам, а по расстоянию до семи центров.

Карта выглядела так, будто Землю поделили между семью школами. Только вместо школ были места, куда люди уходили и не возвращались.

— Вот, — сказал Лео. — Я про это.

Мира, стоявшая за его спиной, тихо произнесла:

— Господи.

Кассия спросила, что получилось. Я объяснил.

Она кивнула, будто другого ответа и не ждала.

— Теперь видно, кого тянет куда, — сказала она.

— Видно.

— И следующую точку?

Я посмотрел на семь областей.

— Нет.

Лео нахмурился.

— Почему?

— Потому что следующей точки ещё нет. Она никого не тянет. На карте уходов можно увидеть только работающие очаги.

— Но она будет.

— Возможно.

— Ты сам сказал, что линия не закончилась.

— Линия точек не закончилась. Но карта людей не показывает место, где пока ничего нет.

Он посмотрел на свою школьную карту, потом на мою.

— Значит, вы опять считаете не то.

Я хотел возразить, но не стал. В прошлый раз он уже оказался прав.

✱

Настоящее доказательство появилось двадцать шестого февраля. Женщину нашли на трассе в ста семидесяти километрах от канадского очага. Она шла пешком четвёртые сутки, пока её не заметил водитель снегоуборочной машины и не вызвал полицию.

Женщина не сопротивлялась. Назвала имя, адрес, телефон мужа. Помнила всё, кроме причины, по которой вышла из дома. В участке ей показали карту и спросили, куда она направлялась. Она указала дорогу на север. Там находился канадский очаг.

Но важна была не она. Важен был её муж.

Он рассказал, что жена впервые вышла из дома ночью одиннадцатого января. Тогда канадскую зону ещё не объявили. Она прошла пять километров на юго-восток, босая, пока её не остановил патруль. Объяснить ничего не смогла. Второй раз она ушла двадцать восьмого января — уже на север.

Между этими датами появился канадский очаг.

Я нашёл их дом, восстановил направления и нанёс обе линии. Первая шла к очагу в Северной Америке, который на тот момент был ближайшим из действующих. Вторая — к новому канадскому.

Один человек. Один и тот же дом. Два ухода в разные стороны. Изменилось только расположение ближайшего действующего очага.

Вот это уже нельзя было объяснить дорогой, привычкой, случайностью или тем, что я выбрал удобные случаи. Зов не вкладывал человеку один приказ навсегда. Он назначал ему ближайшую точку каждый раз заново.

✱

Я добавил этот случай в письмо и отправил по нашему новому адресу связи. Ответа не было.

На следующий день исчезла сама таблица добровольцев. Страница открывалась, но вместо данных висела короткая надпись: «Материалы временно сняты по просьбе компетентных органов в связи с проверкой персональных данных».

Люди в комментариях решили, что власти скрывают число пропавших. Может быть, так и было. Но через два часа мне пришёл файл — без приветствия, без подписи, с одним предложением в теле письма: «Проверьте, совпадает ли это с вашей моделью».

В приложении была таблица на четыреста двенадцать строк. Не газетные заметки, а полицейские протоколы, координаты камер, последние сигналы телефонов, время обнаружения машин, показания свидетелей и отметки поисковых групп. Семь стран выгрузили сведения в один формат.

Кто-то на другой стороне сделал то, чего я не мог сделать четыре месяца. Собрал общую ведомость.

✱

Я не спал тридцать один час. Мира попыталась остановить меня после полуночи.

— Два часа, — сказала она, показывая на правило на холодильнике.

— Это не моя тетрадь. Это их данные.

— Какая удобная формулировка.

— Мне нужно закончить.

— Тебе всегда нужно закончить.

— Мира, там четыреста строк.

— А у тебя одно сердце. Даже если оно считает себя двумя.

Я посмотрел на неё. Она не отступила.

— Ещё час, — сказал я.

— Сорок минут.

— Пятьдесят.

— Сорок пять.

— Хорошо.

Через сорок пять минут она закрыла ноутбук. Я разозлился — по-настоящему, глупо, как злятся на человека, который отнимает работу в тот момент, когда ответ почти найден.

— Ты не понимаешь, — сказал я.

— Понимаю, — ответила Мира. — Поэтому и закрыла.

Кассия сидела на диване и слушала.

— Скажи ей, — попросил я.

— Что?

— Что нельзя останавливаться посередине следа.

Кассия подумала.

— Можно, — сказала она. — Если утром след никуда не уйдёт.

— Спасибо.

— Пожалуйста, — сказала Кассия тем же тоном, каким Мира говорила это двенадцать дней назад.

Я лёг. Не уснул, но пролежал шесть часов с закрытыми глазами. Утром Мира молча открыла ноутбук и поставила рядом завтрак. Так у нас выглядела забота в конце февраля.

✱

Из четырёхсот двенадцати строк пригодились сто тридцать семь. Остальные не имели направления или содержали слишком мало подтверждений.

Сто тридцать семь случаев дали двести девять отдельных маршрутов: некоторые люди уходили несколько раз, и каждый уход считался отдельно. Двести один маршрут указывал к ближайшему действующему очагу. Восемь не совпали.

Я проверил их вручную. В трёх были перепутаны координаты — широту внесли вместо долготы. Два человека ехали на междугороднем автобусе и вышли не там, куда двигались сами. Один случай оказался семейным конфликтом, не связанным с зонами.

Осталось два. Мужчина в Патагонии и подросток в Канаде двигались не к ближайшему очагу.

Я просидел над ними два часа, а потом заметил время. Оба изменили направление двенадцатого февраля в пределах одного часа. В тот день все шесть существовавших ранее зон одновременно сбили и заново установили ритм, а в пустыне Северной Америки подтвердили седьмой очаг.

До этого момента оба шли к ближайшим старым точкам. После — повернули к новой. Не потому, что она стала ближе. Она не стала. На несколько часов новый очаг оказался сильнее остальных.

Значит, правило было точнее: «Человек → ближайший из очагов, которые зовут с обычной силой».

Если один узел усиливался, расстояние переставало быть главным. Это была первая ошибка модели — и первый взгляд на то, что находилось за ней.

Кто-то мог менять силу отдельных точек. Кто-то распределял поток.

✱

Первого марта я отправил итог: двадцать три страницы, карта семи зон притяжения, метод отбора, двести девять маршрутов, двести одно совпадение по ближайшему очагу, шесть объяснённых отклонений и два одновременных поворота в момент появления седьмой зоны.

Выводов было три.

Первый: уходы людей и очаги связаны.

Второй: все семь очагов получают общий управляющий сигнал.

Третий: карта уходов не может показать ещё не работающую точку.

В конце я написал: «Для определения возможного восьмого очага нужны точные координаты центров всех семи зон и временные ряды их активности. По открытым данным решить задачу нельзя».

Через одиннадцать минут пришёл ответ: «Данные будут предоставлены на встрече».

И следом адрес. Обычное административное здание в центре города. Третий этаж. Кабинет без номера в сообщении.

Четвёртое марта, шестнадцать часов.

✱

В тот вечер мы снова сидели вчетвером. Лео раскрасил семь областей разными карандашами — не потому, что я просил, а потому, что, по его словам, иначе было непонятно, где чья школа.

Африканская область была жёлтой, патагонская — синей, австралийская — красной, канадская — зелёной. Для Прибайкалья он выбрал фиолетовый, для Азии коричневый, для Северной Америки оранжевый. Границы шли через океаны, страны и города, не замечая ничего человеческого.

— А тут что? — спросил Лео.

Он показал на узкую полосу между тремя областями, где расстояния до очагов почти совпадали.

— Граница выбора, — сказал я.

— А если человек живёт прямо на ней?

— Не знаю.

— Его тянет в обе стороны?

— Возможно.

Кассия посмотрела на место, куда он показывал.

— Такой человек первым почувствует перемену, — сказала она.

— Почему?

— Потому что ему всё равно, какая верёвка короче. Дёрнется сильнее — пойдёт туда.

Я записал её слова. Мира наблюдала за нами, потом спросила:

— Значит, восьмью вы не нашли?

— Нет.

— Но поняли, почему не нашли?

— Да.

— Это тоже результат.

Я посмотрел на карту. Семь цветных областей покрывали всю планету. Не оставалось ни одного места, которое не принадлежало бы какому-нибудь очагу.

Но это не значило, что восьмого места не было. Это значило только, что оно пока молчало.

Я закрыл тетрадь. До встречи оставалось три дня. До четырнадцатого июня — три месяца и тринадцать дней. Тиков — одиннадцать.

И впервые с декабря у меня было не только то, что я собирался рассказать государству. У государства было то, чего не хватало мне: точные цифры.

Мы наконец шли навстречу друг другу.

Глава 22. Три месяца и десять дней

Четвёртого марта я проснулся в шесть двенадцать. Будильник стоял на семь.

Я лежал на двух сдвинутых табуретах, смотрел на нижнюю сторону кухонного стола и слушал квартиру. За стеной спала Мира, в маленькой комнате — Лео. В большой комнате было тихо, но я знал: Кассия не спит. Перед важной дорогой она всегда просыпалась раньше остальных.

В четыре часа мы должны были встретиться с людьми, которые собрали четыреста двенадцать исчезновений в одну таблицу и знали точные координаты семи очагов. Я собирался рассказать им, откуда знаю всё остальное, но до этого мне надо было закончить один разговор дома.

Я открыл тетрадь на последней странице и написал дату: «4 марта 2028 года».

Ниже — три строки:

«Осталось: 3 месяца 10 дней.

Тики: 11.

Предел: 14 июня».

Я смотрел на них до тех пор, пока на кухню не вышла Кассия. Она была уже одета. Волосы собраны, на запястье — резинка, которую ей дала Мира. Нож она с собой не брала: после разговора о рамке на входе в административное здание согласилась оставить его дома, но выражение лица у неё было такое, будто без ножа она уступила государству слишком многое.

Кассия увидела открытую тетрадь.

— Сегодня скажешь? — спросила она.

— Да.

— Всем?

Я понял, кого она имеет в виду.

— Всем.

Она кивнула и поставила чайник.

✱

До этого дня Лео знал, что я серьёзно болен. Знал, что болезнь связана с тем, что я принёс из другого мира. Знал, что время ограничено и что взрослые считают месяцы. Он даже видел записи: я не прятал тетрадь после того, как однажды уже нарушил наше правило.

Но точную дату мы ему не называли. Сначала потому, что было рано. Потом потому, что ждали суда. Потом потому, что приближался его день рождения. Потом потому, что появились очаги.

У взрослых всегда находится причина отложить правду ребёнку. Каждая по отдельности звучит разумно. Если сложить их вместе, получается ложь длиной в несколько месяцев.

В семь Мира вышла на кухню. Посмотрела на меня, на тетрадь и сразу всё поняла.

— До завтрака или после? — спросила она.

— После.

— Почему?

— Пусть сначала поест.

— Он не сможет есть после?

— Не знаю.

— Тогда до, — сказала Мира. — Иначе он потом вспомнит, как мы сидели рядом и ждали, пока он доест хлопья, чтобы сообщить ему дату.

Она была права. Я ненавидел, когда она была права в таких вещах.

✱

Лео вышел в семь двадцать. По субботам он вставал позже, но сегодня должен был идти на дополнительное занятие по математике, а после него — к матери одноклассника.

Встречу назначили на четыре, хотя Мира просила время, когда он будет в школе. Получив дату, она отправила короткий ответ: «В субботу в шестнадцать часов ребёнок в школе не находится».

Ей написали: «Обеспечьте нахождение ребёнка в безопасном месте».

Мира потом минут пять объясняла чайнику, что думает об этой формулировке.

Лео сел за стол и посмотрел на нас.

— Что случилось?

— Почему ты решил, что что-то случилось? — спросила Мира.

— Кассия не ест. Папа держит тетрадь. А ты не сказала, чтобы я убрал телефон.

Он положил телефон экраном вниз.

— Говорите.

Я придвинул к нему тетрадь.

— Помнишь, в ноябре я объяснял про месяцы и тики?

— Одиннадцать тиков и восемь месяцев, — сказал Лео. — Если просто жить, уменьшаются месяцы. Если использовать то, что ты умеешь, уменьшаются и месяц, и тик.

— Да.

— Ты использовал?

— Нет.

— Тогда одиннадцать.

— Одиннадцать.

Он посмотрел на страницу, прочёл первую строку, затем вторую. На третьей задержался.

— Четырнадцатого июня что? — спросил он.

Я мог выбрать мягкое слово. Не выбрал.

— Я умру, — сказал я.

Мира закрыла глаза. Кассия смотрела на Лео.

Он не заплакал и не переспросил. Просто сидел и считал — я видел по тому, как двигаются его губы.

— Это сто два дня, — сказал он наконец.

— Да.

— Точно?

— Если я ничего не применю.

— А если применишь один раз?

— Станет на месяц меньше.

— То есть четырнадцатое мая.

— Да.

— Два раза — четырнадцатое апреля.

— Да.

— Три — четырнадцатое марта.

На последней дате он остановился. Сегодня было четвёртое. До неё оставалось десять дней.

— Поэтому ты не хочешь закрывать все семь, — сказал Лео.

— Поэтому.

— А они хотят, чтобы ты закрывал?

— Пока не знаю.

— Если попросят?

— Откажусь.

— А если скажут, что там люди?

Вот он — вопрос, ради которого я должен был назвать дату до встречи, а не после.

— Тогда будет трудно, — сказал я. — Но ответ всё равно не должен меняться только потому, что мне покажут конкретного человека. Если я потрачу всё на первые семь бед, восьмую уже никто не остановит.

— Ты уверен?

— Нет.

Лео поднял глаза.

— Но ты же сказал, что откажешься.

— Можно принять решение и всё равно не быть уверенным, — сказал я. — Взрослые делают так чаще, чем рассказывают детям.

Он снова посмотрел на тетрадь, потом взял ручку и под моими тремя строками написал печатными буквами: «СКАЗАЛ 4 МАРТА. НЕ ПОСЛЕ».

— Это зачем? — спросил я.

— Чтобы потом ты не говорил, что сказал раньше.

Мира отвернулась к окну. Я видел её отражение в стекле: она улыбалась и плакала одновременно.

✱

Завтрак всё-таки съели, хотя и не сразу. Лео задал ещё семь вопросов, и ни один не был тем, которого я боялся.

Можно ли ошибиться в дате. Можно ли не использовать силу никогда. Чувствую ли я, как уменьшается срок. Больно ли мне сейчас. Знает ли бабушка. Знают ли люди, с которыми мы сегодня встречаемся. Что будет с Кассией.

На последний ответила она сама.

— Я останусь, — сказала Кассия.

— Где?

Она посмотрела сначала на него, потом на Миру.

— С вами. Если вы позволите.

Мира ничего не сказала, но подвинула к Кассии тарелку с хлебом, до которой та не дотягивалась.

Лео заметил. Он замечал такие вещи лучше нас.

✱

В десять его забрала мать одноклассника. Мира трижды повторила адрес, дважды проверила телефон и попросила написать сразу, как они дойдут. Лео терпел до двери, а потом обернулся ко мне.

— Пап.

— Да?

— Сто два — это много или мало?

— Для чего?

— Вообще.

Я подумал.

— Если ждать каникул — много. Если жить — мало. Если каждый день знать, зачем встал, — достаточно.

Он кивнул так, будто записал ответ без тетради.

— Тогда не трать сегодня зря, — сказал он.

И ушёл.

✱

К зданию мы приехали в пятнадцать сорок две. Обычный четырёхэтажный дом в центре, серый, с табличкой федерального учреждения, название которого ничего не объясняло. У входа стояла рамка, за ней — турникет и женщина в форме.

Моего паспорта ещё не существовало. Решение суда не вступило в силу, свидетельство о смерти не аннулировали. На руках у меня были копия решения, справка из суда и временная бумага с фотографией, которая не являлась удостоверением личности ни в одном нормальном смысле.

Женщина посмотрела на бумагу, потом на меня, потом снова на бумагу.

— Подождите, — сказала она.

За нами уже закрылась наружная дверь. Через минуту спустился мужчина лет тридцати в тёмном костюме без галстука. Он не представился, только попросил пройти.

— Телефоны, часы, электронные устройства оставить здесь.

Мира положила телефон в ячейку, я — старый аппарат с разбитым динамиком. Кассия ничего не положила.

Мужчина посмотрел на неё.

— Металлические предметы?

— Нет, — сказала она по-русски.

— Документы?

— Нет.

— Совсем?

— Совсем.

Он перевёл взгляд на меня.

— Она указана в согласовании, — сказал я.

— Я вижу.

Сказано было таким тоном, будто именно это его и беспокоило.

Нас провели через рамку. Она среагировала на пряжку ремня Кассии — ту самую, которую она сделала для Лео, только на своём ремне металл был другой. Сотрудница попросила снять ремень.

Кассия отказалась. Вежливо, одним словом:

— Нельзя.

Возникла пауза. Я уже видел, как из-за пряжки рушится первая встреча между двумя мирами.

Мира сказала:

— Проверьте ручным прибором. Ремень она не снимет.

Сотрудница посмотрела на мужчину в костюме. Тот кивнул. Нас проверили и пропустили.

Кассия тихо спросила:

— Почему им нужен мой ремень?

— Они не знают, что в пряжке.

— Можно спросить.

— Они спросили.

— Нет, — сказала Кассия. — Они приказали снять. Это другое.

Мира услышала и произнесла:

— Вот поэтому ты сегодня нужна.

✱✱

Комната находилась на третьем этаже. Без окон. Прямоугольный стол, шесть стульев, графин воды, бумага, карандаши и часы на стене. Не камера допросов — слишком обычная. От этой обычности становилось только хуже.

Нас ждали трое. Первым был мужчина около пятидесяти, невысокий, с редкими светлыми волосами и лицом человека, которого не запомнишь, встретив в лифте. Он встал и представился:

— Игорь Петрович.

Фамилию не назвал.

Вторая — женщина лет сорока с планшетом и папкой, Елена Сергеевна, специалист по геофизике. Третий — переводчик для Кассии, молодой мужчина по имени Антон. Он заранее извинился, что не знает её языка.

— Его никто не знает, — сказал я.

— Тогда как вы разговариваете?

— Она выучила русский.

— За четыре с половиной месяца?

— Немного, — сказала Кассия. — Сложное — медленно.

Антон остался. Договорились, что я буду пояснять незнакомые слова, а он — переформулировать официальные вопросы простым русским. Получился перевод с русского на русский для человека из другого мира. Наверное, иначе и не могло быть.

✱

Игорь Петрович положил перед собой распечатку моего письма.

— Начнём с формальностей, — сказал он. — Вы добровольно пришли на встречу?

— Да.

— Понимаете, что разговор будет записываться?

— Теперь понимаю.

Он посмотрел на Миру.

— Ваше присутствие?

— На нём настоял Адам.

— Ваш статус по отношению к нему?

Мира выдержала паузу.

— По закону пока вдова. По жизни разбираемся.

Игорь Петрович записал именно так, потом посмотрел на Кассию.

— А вы?

— Кассия.

— Я спрашиваю о вашем отношении к Адаму Николаевичу.

Она поняла не сразу. Антон упростил вопрос.

— Я пришла с ним, — ответила Кассия.

Игорь Петрович подождал продолжения. Продолжения не было. Он тоже записал именно так.

✱

Первый вопрос оказался не тем, которого я ждал.

— Откуда у вас координаты африканской зоны?

Не «что происходит». Не «кто вы». Не «откуда появилась женщина без документов». Откуда цифры.

Я понял, что напротив сидит человек моей профессии. Не по должности — по способу думать.

Я рассказал про статистику за пять лет, обычную частоту необъяснённых показаний и контрольные регионы. Про две пеленгованные линии в Австралии. Про спутниковые снимки по неделям, тёмное пятно и скорость расширения. Про координаты, отправленные самому себе за девять дней до бюллетеня службы.

Игорь Петрович слушал сорок минут и не перебил ни разу. Елена Сергеевна перебивала.

Она спрашивала, какую проекцию я использовал, как учитывал сезонность снимков, почему исключил солнечную активность, где взял исходные карты магнитной съёмки и каким образом оценивал размер пятна без единой шкалы на публичном изображении.

Я отвечал. На двух вопросах сказал, что не знаю. На одном признал ошибку: первую оценку скорости сделал по ширине, хотя правильнее было считать площадь. После пересчёта рост оказался не равномерным, а ступенчатым.

Елена Сергеевна впервые подняла глаза от папки.

— Почему вы не исправили старую запись?

— Исправил ниже.

— Старую оставили?

— Конечно.

— Зачем?

— Чтобы помнить, где ошибся.

Она посмотрела на Игоря Петровича. Тот едва заметно кивнул.

✱

Потом они спросили про карту уходов, и здесь разговор пошёл быстрее. У них были те же данные и специалисты, которые уже строили похожие модели. Разница оказалась в одном: они считали поведение людей следствием каждой зоны отдельно. Я считал семь зон выходами одной системы.

Елена Сергеевна вывела на стену карту. Не ту, которую раскрашивал Лео, а настоящую: с точными границами, временными слоями, линиями движения и тысячами мелких отметок. Семь очагов пульсировали красным. Внизу шли семь графиков активности.

Я подошёл ближе.

— Двенадцатое февраля, — сказал я.

— Что?

— Покажите участок за двенадцатое. С момента появления седьмого очага.

Елена Сергеевна увеличила графики. На всех семи была одна и та же ступенька. Не одинаковая высота — одинаковое время и форма: короткий провал, затем новый ритм.

— Мы считаем это переходом системы в устойчивое состояние, — сказала она.

— Какой системы?

Она не ответила.

— Вы сами назвали это системой, — сказал я.

— Рабочий термин.

— Хороший термин.

Игорь Петрович спросил:

— Вы утверждаете, что зоны связаны между собой?

— Утверждаю, что они меняются одновременно. Связь — пока объяснение.

— В письме вы написали «общий управляющий сигнал».

— В письме это стоит в разделе выводов, не фактов.

— Вы всегда так разделяете слова?

— Когда от них зависит решение — стараюсь.

Он перевернул страницу.

— Хорошо. Тогда перейдём к решению.

✱

Я поднял ладонь.

— Сначала два условия.

В комнате стало чуть тише. Не потому, что до этого было шумно. Просто все трое напротив перестали двигаться одновременно.

— Вы находитесь не в положении ставить условия, — сказала Елена Сергеевна.

— Тогда я уйду.

— Адам, — тихо сказала Мира.

Я посмотрел на неё. Она не останавливала — только напомнила, что я здесь не один.

Игорь Петрович сложил руки.

— Назовите.

— Первое. Нас не разделяют. Ни сегодня, ни после. Если вы хотите говорить со мной отдельно, сначала объясняете зачем и получаете согласие всех троих.

— Почему?

— Потому что я уже один раз решил, что лучше всех знаю, какую правду выдержат мои близкие. Больше не буду.

Мира ничего не сказала. Кассия положила ладонь на стол. Игорь Петрович записал.

— Второе?

— У меня есть возможность воздействовать на то, что находится в очагах. Возможность ограниченная. Каждое применение стоит мне месяца жизни.

Елена Сергеевна перестала листать папку.

— Месяца — метафора?

— Нет.

— Каким образом вы это измерили?

— Объясню. Но условие сначала.

Игорь Петрович кивнул.

— Продолжайте.

— Никто не просит меня применить её под давлением обстоятельств. Не подводит к человеку и не говорит, что только я могу помочь. Не ставит перед камерой. Не принимает решение за меня. Сначала информация, потом время на ответ.

— Обычно люди с необычными возможностями просят обратного, — сказал он. — Возможность их применить.

— У меня их немного, — ответил я. — И каждая стоит месяц жизни. Я хочу, чтобы это знали заранее, а не в ту минуту, когда кто-нибудь будет в опасности и попросит.

Он долго смотрел на меня, потом на Миру.

— Вы подтверждаете?

— Я подтверждаю, что он именно так понимает цену, — сказала она. — И что сегодня утром назвал нам дату.

— Какую?

— Четырнадцатое июня.

Игорь Петрович записал.

— Принято, — сказал он. — Оба условия. Пока в пределах полномочий этой группы.

— «Пока» мне не нравится.

— Другого слова у меня нет.

Честный ответ. Я сел обратно.

✱

После этого он положил передо мной тонкую папку. Внутри были семь листов — по одному на каждый очаг.

Точные координаты центра. Дата первого зафиксированного отклонения. Текущая площадь. Скорость расширения. Число эвакуированных. Число пропавших. Диапазон, внутри которого люди начинали слышать зов.

На последней строке каждого листа стоял один и тот же показатель: «Период низкочастотной составляющей».

Цифры отличались в третьем знаке. Почти одинаковый ритм.

Я разложил листы по порядку появления зон: Африка, Патагония, Австралия, Канада, Прибайкалье, Юго-Восточная Азия, Северная Америка. Семь ударов, растянутых на пять месяцев.

— Можно карандаш? — спросил я.

Елена Сергеевна подвинула его ко мне. Я выписал интервалы между первыми отклонениями. Они уменьшались — не сильно, но последовательно. Первый промежуток был самым длинным, последний — самым коротким.

— Вы это видели? — спросил я.

— Видели, — сказала она.

— И?

— Недостаточно точек для вывода.

— Для вывода — да. Для вопроса — достаточно.

— Какого вопроса?

Я посмотрел на карту на стене.

— Почему тот, кто их ставит, ускоряется?

Никто не ответил.

✱

В комнате не было окон, но я всё равно чувствовал, как за стенами здания наступает вечер. Часы показывали семнадцать двадцать три. Мы проговорили почти полтора часа и всё ещё не подошли к главному.

Игорь Петрович закрыл папку.

— У меня два вопроса, — сказал он. — После них мы решим, продолжается ли этот разговор здесь или в другом месте и другим составом.

— Задавайте.

— Первый. Ваши правила для группы в Прибайкалье. Откуда они?

— Из опыта.

— Какого?

— Мы сто три дня шли через территорию, где происходило похожее.

— Кто «мы»?

— Я и Кассия.

Он посмотрел на неё.

— Где находится эта территория?

— Не на Земле.

Елена Сергеевна медленно положила карандаш. Антон решил, что неправильно понял, и переспросил:

— Вы имеете в виду другую страну?

— Нет.

Игорь Петрович не изменился в лице.

— Второй вопрос, — сказал он. — Почему вы вообще начали искать аномалии в декабре? Тогда ни один специалист не связывал африканские показания с исчезновениями в Австралии. Что заставило вас поставить их рядом?

Вот тут я подошёл к краю. До него я рассказывал о вещах, которые можно проверить: письмах, координатах, снимках, линиях, датах. Даже странные правила работали на записи реальной операции.

Следующее предложение проверить было нельзя. Можно было только поверить человеку, который семь лет числился мёртвым и пришёл на встречу с женщиной без документов, утверждавшей, что родилась в мире с двумя лунами.

Я посмотрел на Миру. Она кивнула. Посмотрел на Кассию.

— Глаза чистые, — сказала она.

Старая проверка. Совершенно бессмысленная здесь и нужная мне больше всего.

Я повернулся к людям напротив.

— Сейчас я скажу вещь, после которой вы, скорее всего, решите, что весь предыдущий разговор ничего не стоит, — сказал я. — Я к этому готов. Но если я её не скажу, всё остальное бессмысленно.

— Говорите, — ответил Игорь Петрович.

— Я знаю, что находится в этих зонах.

— Предполагаете?

— Нет. Знаю.

— Откуда?

— Я это уже видел.

Он выдержал паузу.

— Где?

Я положил ладонь на семь листов. В груди ровно отсчитывало второе сердце.

Одиннадцать тиков.

Три месяца и десять дней.

Глава 23. Показания

После слов «не здесь» никто не заговорил. Часы на стене отмерили девять секунд. Я считал. Не потому, что девять имело значение. Просто в тишине мне всегда было легче считать, чем ждать. Первой нарушила её Елена Сергеевна.

— Вы утверждаете, что находились на другой планете?

— Я не знаю, была ли это планета.

— Но не Земля.

— Не Земля.

— Как вы туда попали?

— Умер.

Карандаш в её руке остановился. Игорь Петрович посмотрел на лежавшую перед ним справку из суда. На первой странице крупно стояло: «об установлении факта нахождения гражданина в живых».

— Начните с начала, — сказал он.

Я посмотрел на часы.

— Это займёт долго.

— Мы никуда не торопимся.

— Торопимся, — сказала Кассия.

Антон повернулся к ней, решив, что требуется перевод. Она повторила медленнее:

— Все торопимся. Земля растёт мёртвая.

Игорь Петрович кивнул.

— Тогда рассказывайте только то, что связано с зонами.

Это была разумная просьба.

И невыполнимая.

Чтобы объяснить зерно, нужно было объяснить мёртвую землю. Чтобы объяснить мёртвую землю — Колодец. Чтобы объяснить, почему я вошёл в сердце Предела, — Кассию, Рейнара, Дорна, Грейфолл и три года дороги домой. Нельзя рассказать о последней двери, не объяснив, зачем человек всё это время к ней шёл.

Но я попробовал.

✱

— Десятого марта восемь лет назад я ехал на работу, — начал я. — У меня остановилось сердце. Машина вылетела с дороги. Тела не нашли, потому что меня в машине уже не было.

— Вы помните сам момент перемещения? — спросила Елена Сергеевна.

— Нет. Помню боль. Потом открыл глаза под небом с двумя лунами.

— Где именно?

— В лесу, в нескольких днях пути от города Грейфолл.

— Название на каком языке?

— На местном. Я понимал речь сразу.

— Почему?

— Не знаю.

Она записала.

— Что было первым объективным признаком, что это не Земля?

— Две луны.

— Кроме небесных объектов.

— Существо, которое попыталось меня убить.

Мира напряглась рядом. Я не стал описывать падальщика. Не потому, что жалел людей напротив. Просто для очагов его устройство не имело значения.

— После его гибели я увидел надпись, которой не было в воздухе, — продолжил я. — Уровень, название, полученный опыт. Потом такая же надпись показала мои данные.

— Галлюцинация?

— Возможно. Только её результаты влияли на тело. Я становился сильнее, быстрее, выносливее. Другие люди видели собственные показатели. У них существовали гильдии, ранги и приборы, работавшие с этой системой.

— У вас сохранилось что-нибудь из этих приборов?

— Нет.

— Почему?

— Дверь пропустила нас без большей части вещей. То, что прошло, на Земле не работает так же.

Я достал из кармана мёртвое кольцо. Нам вернули вещи после рамки, но телефон остался в ячейке. Кольцо я носил на цепочке и не снимал. Положил его на стол. Елена Сергеевна надела тонкие перчатки и взяла кольцо пинцетом.

— Это то, что вы показывали эксперту в октябре?

— Да.

— Неизвестный сплав.

— Так он сказал.

— Можно изъять для исследования?

— Нет.

Она подняла глаза.

— Хотя бы на время.

— Нет.

— Почему?

— Потому что я уже отдал достаточно вещей, которые не смог вернуть.

Игорь Петрович жестом велел положить кольцо обратно. Она подчинилась.

✱

Я рассказал про Грейфолл.

Не весь.

Сказал про Ищущих, разломы и существ, возникавших внутри. Про то, что после победы они рассыпались золотой пылью, оставляя искры. Про гильдию, которая отправляла людей в подземелья и измеряла их способность возвращаться. Сказал про Колодец под столицей.

Пятьдесят ярусов.

Именно пятьдесят.

— Почему вы подчёркиваете число? — спросил Игорь Петрович.

— Потому что люди столетиями считали, что ниже есть ещё. Не было. После пятидесятого начиналось другое место.

— Какое?

— Предел.

Елена Сергеевна записала слово русскими буквами.

— Это имя собственное?

— Они называли так область, где заканчивается обычный мир. Леса, потом земля без жизни, а дальше — сердце.

— Сердце в переносном смысле?

— Огромная впадина. В центре находилось зерно.

— Насколько огромное?

— Само зерно — размером примерно с кулак. Мёртвая область вокруг него — такая, что мы шли через неё сто три дня.

Антон перестал делать пометки. Елена Сергеевна спросила:

— Оно росло?

— Да.

— С какой скоростью?

— Медленно. Граница сдвигалась так, что местные замечали изменения поколениями, а не месяцами. Зерно находилось там около тысячи лет.

Она посмотрела на семь графиков на стене. Кассия сказала:

— Ваши быстрые.

— Насколько? — спросила Елена Сергеевна.

Кассия подбирала слова.

— Там одно зерно ело землю долго. Здесь семь едят быстро. Слишком быстро. Маленькие, но работают вместе.

— Почему вы решили, что маленькие?

— Потому что зов слабый.

— Для четырёхсот пропавших он не выглядит слабым.

Кассия посмотрела на меня, и я перевёл не слова, а смысл:

— В мёртвой земле зов мог поднять тысячи людей одновременно и вести их неделями. Там он не нуждался в дорогах, сигналах или близости. Земные очаги пока действуют на ограниченном расстоянии. Значит, они моложе или меньше.

— Или имеют другую природу, — сказала Елена Сергеевна.

— Или другую природу, — согласился я.

Кассия нахмурилась.

— Нет. То же.

Елена Сергеевна повернулась к ней.

— Откуда вы знаете?

Кассия коснулась двумя пальцами груди.

— Тело помнит.

✱

Она говорила дольше, чем когда-либо с незнакомыми людьми на Земле. Медленно. Иногда останавливалась и просила у Лео выученное слово, хотя Лео находился в другом конце города и помочь не мог. Тогда Мира подсказывала. Иногда Антон предлагал три варианта, и Кассия выбирала тот, который звучал точнее.

Она рассказала про сто три дня. Про правила, которые не позволяли спутать настоящее с тем, что показывал Предел. Про постоянные проверки памяти. Про связки. Про необходимость говорить. Про то, как тишина постепенно становилась частью зова. Про воду сказала особенно подробно.

— Чёрная вода не убивала сразу, — переводил Антон её короткие фразы. — Она меняла решение. Человек думал, что выбрал сам. Потом объяснял выбор. Объяснение всегда было хорошее.

Игорь Петрович спросил:

— Вы пили эту воду?

— Нет.

— Тогда откуда знаете?

— Видела других.

— Кого?

Она назвала Тамма. Магистра академии, который построил первый искроход и решил, что чёрная вода может стать топливом. Человека, способного за ночь решить задачу, над которой другие сидели месяцами, и потому особенно уверенного, что сможет остановиться вовремя.

— Его удалось вернуть? — спросила Елена Сергеевна.

— Да, — сказал я. — Потому что рядом была Велисса. Она заметила изменение раньше нас.

— Специалист?

— Ведьма.

Антон кашлянул. Елена Сергеевна посмотрела на него.

— Перевод точный, — сказал он.

— По местным меркам она была специалистом, — добавил я.

Мира впервые за весь разговор улыбнулась. Совсем немного.

✱

Когда дошли до зерна, Игорь Петрович остановил запись. Красная точка на устройстве погасла.

— Почему? — спросил я.

— Перерыв.

— Мы не устали.

— Я устал, — сказал Антон.

Это была первая совершенно нормальная фраза за два часа. Нам принесли чай и еду в пластиковых контейнерах. Кассия долго рассматривала одноразовую вилку, потом отложила и стала есть хлеб руками. Елена Сергеевна унесла кольцо — не моё, а фотографию и результаты старой экспертизы. Игорь Петрович остался.

— Вы нам верите? — спросила Мира.

Он налил воду.

— Это неправильный вопрос.

— Почему?

— Потому что вера не входит в мои обязанности.

— А что входит?

— Определить, какую часть рассказа можно проверить и что будет стоить ошибка.

— И какую можно?

Он показал на Кассию.

— Женщина без документов существует. Говорит на языке, который не удаётся определить. За четыре месяца выучила русский до уровня, позволяющего понимать сложный разговор. Её описание воздействия совпадает с закрытыми отчётами, которых она видеть не могла.

Потом на меня.

— Человек, официально погибший семь лет назад, существует. Генетическая экспертиза подтверждает родство с матерью и сыном. Его текущий биологический возраст не соответствует прошедшему времени. При нём предмет из сплава, который лаборатория не идентифицировала. Он назвал координаты зоны до официального измерения и независимо построил модель уходов.

— Значит, верите.

— Значит, — сказал Игорь Петрович, — версия о другом мире требует меньше новых допущений, чем пять отдельных чудес вокруг двух людей.

Я посмотрел на него.

— Это самое странное «верю», которое я слышал.

— Другого у меня нет.

✱

После перерыва я рассказал, как дошёл до сердца. Без подробностей, которые ничего не меняли. Сказал про нить, уходившую от зерна за пределы того мира. Про ощущение направления, которое нельзя было показать рукой. Про то, что зерно оказалось не местным растением и не существом, родившимся в Пределе.

Его туда принесли.

Или бросили.

— Кем? — спросил Игорь Петрович.

— Не знаю.

— Вы видели отправителя?

— Нет.

— Получали от него сообщение?

— Нет.

— Тогда почему уверены, что это сделал кто-то?

— Потому что нить вела не в землю и не к другому очагу. Она уходила туда, откуда зерно пришло. А после того как я забрал зерно, связь осталась во мне.

Елена Сергеевна вернулась как раз на этой фразе.

— Забрали каким образом?

— Взял в себя.

— Съели?

— Если вам так проще — да.

Она села.

— И после этого вы остались живы.

— На время.

— Что произошло с зоной?

— Она перестала расти. Потом начала возвращаться жизнь. Медленно, от краёв к центру.

— То есть уничтожение зерна обратило процесс.

— В том мире — да.

— Почему вы не считаете, что с земными зонами будет так же?

— Потому что там зерно было одно и зрелое. Здесь семь молодых очагов меняют ритм одновременно. Если за ними стоит общий источник, можно убрать один, а источник вырастит следующий.

— Это предположение.

— Да.

— Но один очаг вы можете убрать?

Я не ответил сразу. Вот ради этого вопроса я ставил второе условие.

— Думаю, могу.

— «Думаю»?

— На Земле я этого не делал. Моя способность здесь работает иначе. Я чувствую то, что осталось после зерна, и чувствую нить. Но пока не войду в зону, проверить не смогу.

— Вы готовы войти?

— После подготовки и только ради проверки метода. Не как начало обхода всех семи.

Игорь Петрович записал ответ.

✱

Дальше они попросили объяснить цену. Я нарисовал три столбца. Дата. Остаток. Тики. Рассказал про двадцать восемь месяцев после зерна, про четырнадцать применений на обратной дороге, три месяца жизни перед дверью и цену самого перехода. На Земле осталось восемь месяцев и одиннадцать тиков.

— Почему тиков больше, чем месяцев? — спросила Елена Сергеевна.

— Не знаю.

— Что произойдёт, если использовать все восемь месяцев, но тики останутся?

— Я не доживу до девятого применения.

— Это проверено?

— Нет. И не будет.

— Тогда это вывод, а не факт.

— Да.

Она кивнула. Мне начинала нравиться её привычка ставить слова в правильные столбцы.

— Как вы определяете остаток? — спросил Игорь Петрович.

— Чувствую. Как часы, на которые не надо смотреть.

— Ошибка?

— В днях — возможна. В месяцах — нет.

— Текущее значение?

— Три месяца и десять дней. Одиннадцать тиков.

Елена Сергеевна посмотрела на часы. Было девятнадцать ноль семь.

— На начало суток или на текущую минуту?

— На текущую минуту я не умею переводить. Срок заканчивается четырнадцатого июня.

Она записала дату. На бумаге государственного учреждения она выглядела хуже, чем в моей тетради.

✱

Последним я рассказал про дверь. Как кольцо показало дом. Как мы дошли до места, где я появился в чужом мире. Как открылся проход. Как Кассия шагнула вместе со мной, хотя могла остаться у своего отца, друзей и всего, что знала.

— Почему? — спросил Игорь Петрович у неё.

Кассия поняла вопрос без Антона.

— Он мой дом, — сказала она.

Мира сидела между нами и смотрела прямо перед собой. Игорь Петрович не стал уточнять.

— Дверь можно открыть снова?

— Нет, — ответил я.

— Уверены?

— Кольцо погасло. Связь исчезла. Это была дорога в одну сторону.

— Значит, проверить существование названного вами мира непосредственно невозможно.

— Для вас — пока да.

— А для вас?

Я коснулся груди.

— Для меня проверка сидит здесь.

✱

Елена Сергеевна достала из нижнего отделения своей папки небольшой чёрный футляр. Поставила на стол.

— Что это? — спросил я.

— Проверка.

Игорь Петрович посмотрел на неё с раздражением.

— Мы это не согласовывали.

— Мы согласовали возможность предъявить образец без вскрытия контейнера.

— После медицинского допуска.

— Контейнер герметичен.

Кассия уже встала. Не резко. Просто секунду назад сидела, а теперь стояла между футляром и Мирой.

— Уберите, — сказала она.

Елена Сергеевна замерла.

— Вы знаете, что внутри?

— Уберите.

Я почувствовал через секунду после неё. Второе сердце сбилось. Не ускорилося — пропустило один удар, затем другой. Нить, молчавшая с ноября, стала ощутимой, как натянувшаяся под кожей струна. Я поднялся.

— Образец из очага?

— Грунт с внешней границы африканской зоны, — сказала Елена Сергеевна. — Три оболочки. Последняя проверка герметичности сегодня утром.

— Вынесите его из комнаты.

— Вы ощущаете воздействие?

— Я ощущаю связь.

— Опишите.

— После того как вынесете.

Игорь Петрович нажал кнопку у края стола. Вошёл мужчина в защитных перчатках, убрал футляр в металлический кейс и унёс. Когда дверь закрылась, нить ослабла. Не исчезла. Но снова стала далёкой. Кассия села не сразу.

— Это было опасно? — спросила Мира.

— Не знаю, — ответил я.

— Тогда зачем вы принесли это сюда? — спросила она у Елены Сергеевны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.